

БОРИС БОКСЕР



**Особая  
должность**

## Annotation

Новогодней ночью 1943 г. в одном из рабочих поселков под Ташкентом была убита девушка — работница оборонной лаборатории. Расследование поручено молодому контрразведчику Коробову. Это — реальное лицо. В течение трех десятилетий подполковник Л. Коробов выполнял важные задания.

В повести, написанной на документальном материале, воссозданы суровые тыловые будни, напряженная деятельность наших чекистов по разоблачению вражеской агентуры.

Борис Боксер — писатель-фронтовик, автор ряда получивших признание книг, изданных в Москве и Ташкенте.

- 
- [Борис Боксер](#)
    - [УРОКИ](#)
    - [ГЛАВНАЯ ЗАПОВЕДЬ](#)
    - [ТРЕТИЙ ВЫСТРЕЛ](#)
    - [ТЕНЬ ОБРЕТАЕТ ПЛОТЬ](#)
  - [notes](#)
    - [1](#)
-

**Борис Боксер**

**Особая должность**

***Из рассказов о подполковнике Коробове***

**Повесть**

БОРИС БОКСЕР

## ОСОБАЯ ДОЛЖНОСТЬ

*Из рассказов  
о подполковнике  
Коробове*

Повесть

Ташкент  
Издательство  
ЦК ЛКСМ Узбекистана  
«Вш гвардия»  
1982

## УРОКИ

Благословенное азиатское лето царило в Паркентских горах. Невесомое небо опиралось на вершины гор. Перекатывалась через россыпи крутолобых камней безымянная речка, растекаясь бесчисленными рукавами. Под легким ветром покачивали фиолетовыми султанами, огненно-желтыми зонтиками, бледными колосками горные цветы. Среди зарослей барбариса и шиповника тут и там виднелись улы, окрашенные суриком и охрой. Ташкентские пчеловоды вывезли их сюда еще в пору цветения миндаля и останутся с ними здесь до глубокой осени, до первого инея.

На одном из пчельников и священнодействовал Лев Михайлович Коробов, высокий плотный человек лет пятидесяти пяти. Для меня он был до поры пасечником, не более, хотя уже неделю кряду чаевничали мы у него по вечерам, засиживаясь до того позднего часа, когда небосклон густо темнел и над самой дальней, высокой и острой вершиной возникал сапфировый Лебедь, верша изначальный полет по Млечному пути.

На чай со свежим горным медом привел меня к Коробову встреченный в доме отдыха ташкентский строитель Гильманов — приятель еще юношеских лет. Как-то он рассказал мне, что неподалеку от дома отдыха, где мы, подобно многим горожанам, спасались в июле от духоты, расположился со своей пасекой его ташкентский сосед, как говаривали в старину, — некто Коробов.

Ранней весной Гильманов помог ему вывезти сюда, в горы, улы и фанерный домик, в котором Коробов наващивал рамки, откачивал мед, занимался делами, издали напоминающими колдовство. Он и вправду был похож на чародея, сильного и доброго, и впечатление это усиливалось благодаря живому взгляду глубоко посаженных по-детски голубых глаз.

Как нередко бывает на отдыхе, само собой случилось, что стали мы заходить к Коробову едва ли не ежевечерне. Беседовали о всякой всячине: есть в мужской откровенности своя привлекательность. Слушая Коробова, я не догадывался до поры, что в прошлом он — не только военный, но и сотрудник «Смерша», особого, окутанного романтикой и тайной, отдела контрразведки — «Смерть шпионам». Такие отделы были созданы во время войны; назначение их понятно из самого названия, если не совсем благозвучного, то несомненно — точного. О том, что составляло главный смысл жизни этого пасечника из дивного Паркентского края, узнал я

случайно. И это — тоже примечательно для Коробова.

Однажды вечером обсуждали мы несколько насмешливо концерт, который накануне давала в доме отдыха «дикая» эстрадная труппа. Среди артистов, к удивлению моему, оказался и чечеточник; грешным делом, я полагал, что жанр этот давно изжил себя, но вот же, как в давние годы, выбежал на эстраду немолодой человек и под баян начал истово и дробно пристукивать носками блестящих туфель. Молодежь глядела на него, как на ожившую диковинку, мне же почему-то стало жаль пожилого артиста и даже как-то неловко за него, но суть, впрочем, не в этом. После концерта, за чаем у Коробова, заговорили о чечетке, весьма популярной до войны, и о чечеточниках. Гильманов поведал о своем полковом командире, который питал к чечеточникам великую слабость и даже приказывал освобождать их от нарядов на конюшню. Мне же вспомнилось нечто не столь забавное.

В первую неделю войны на киевском Крещатике седоватый дядька цепко ухватил за локоть невысокого прохожего с фибровым чемоданчиком в руке. У прохожего было плоское круглое лицо, на котором тревожно бегали узкие, прикрытые тяжелыми пухлыми веками, блестящие глаза. Он напоминал малайца или японца, во всяком случае — выглядел непривычно среди европейцев, и этого оказалось достаточно, чтобы толпа, взвинченная неизбежной в начале каждой войны шпиономанией, вмиг окружила странного человечка, самовозбуждаясь от минуты к минуте. Трясущимися детскими пальцами он извлек из нагрудного кармана удостоверение артиста эстрады, но ему не поверили. «Кажи, що в чемодане!» — рявкнул седой дядька и сам рванул защелку. На асфальт шлепнулись блестящие лаковые туфли с медными набойками на носках и каблуках. Увидев эти набойки, взглянув на несчастный бледно-желтый лик артиста, все и самый ретивый разоблачитель — тоже устыдились на миг. Даже я, в ту далекую пору — мальчишка, вспомнил, что как-то в парке Дворца пионеров видел выступление этого чечеточника. Плясал он и вправду замечательно, а металлические подковки отбивали ритм вовсе уж бесподобно...

Лежа на раскладушке, подперев голову массивной ладонью, Коробов внимательно слушал меня.

— По вашей части, Лев Михайлович, — заметил, непонятно улыбаясь, Гильманов.

Коробов откликнулся не сразу.

— А настоящий-то враг был наверняка рядом и подталкивал невыдержанных людей вот на такие выходки. Древнее правило у жулья: громче всех ори «Держи вора!» — произнес он своим высоким голосом как бы нехотя.

— Ну а если бы там были вы, Лев Михайлович, — спросил, словно подзадоривая, Гильманов, — вы что, сразу установили бы, кто там шпион?

— Контрразведка не цирк, оперработник — не фокусник, — с некоторым недовольством откликнулся Коробов.

— Но все-таки разоблачают же шпионов, — по-мальчишески не отступал Гильманов. — Значит есть, наверное, у контрразведчиков какое-то особое профессиональное чутье?

— Чутье — чутьем. — Коробов поднялся, опустил ноги на землю. — Оно, конечно, необходимо, как в любом деле. Вот недавно здесь в доме отдыха выступал лектор, рассказывал, что без интуиции никакое творчество невозможно. Машина настоящие стихи не выдаст, какие бы ты там программы в нее не закладывал. И все-таки догадаться можно раз, пусть два. А если ошибешься? Тут же не только невинные пострадают — подлинный враг улизнет. Вот о чем думать надо.

На том и закончился разговор в тот вечер, но потом Коробов сам продолжил его. Рассказывал он о себе и о своей работе не очень последовательно; мог прервать рассказ долгим и обстоятельным рассуждением о том, как нынче прошел у его пчел большой взятки, или сколько «силы» набрала новая пчелиная семья. То вдруг, оборвав себя «на самом интересном месте», раздражался монологом о негодяе поваре из дома отдыха, который ворует из кухни баранину для брата шашлычника, а тот дерет втридорога за тощую палочку шашлыка. Бывало, и вовсе не желал уходить в прошлое и втягивал заядлого шахматиста Гильманова на весь вечер в спор о различии манер Карпова — Таля.

Но минули лето и осень, и чаще стали вспоминаться мне те вечерние беседы в Паркентском краю. И начали складываться из эпизодов и фраз (из многих собственных предположений, не скрою, и домыслов — тоже) рассказы об одном из тех, кто без намека на позу, без малейшей надежды на то, что когда-нибудь люди узнают о нем и о его делах, пренебрегая морозным веянием смерти, — а чувствовал он ее рядом с собой едва ли не чаще, чем солдат в окопе, — хладнокровно, разумно делал то, что положено делать при столкновении с врагом. Что и означает — воевать, даже если находишься за тысячу верст от фронта. Тыла во время войны не бывает, и Ташкент в ту пору отнюдь не был тихой заводью.

Прежде других сложился у меня рассказ о том, как Лев Михайлович Коробов пришел в контрразведку.

## ГЛАВНАЯ ЗАПОВЕДЬ

В юношеских мечтах Коробов себя контрразведчиком не видел. Перед неизбежным выбором — кем быть, встал он в тридцатые годы, а тогда кумиром у юношей его поколения был удивительный летчик Валерий Чкалов. По всей стране мальчишки строили из бамбука модели самолетов — «утки»; став постарше, прыгали с парашютных вышек в парках, самые удачливые в семнадцать лет в восторге парили на фанерных планерах.

Все это Коробов видел только в кино и на фотографиях. В станице бывших семиреченских казаков вблизи Алма-Аты, где он родился и жил, не было аэроклуба, но газеты и журналы приходили. Коробов вырезал из них снимки... Валерий Чкалов в кабине нового самолета; Чкалов, Байдуков и Беляков на аэродроме в Америке, после перелета через Северный полюс, — трое русских парней, жизнерадостных и счастливых, в кожаных шлемах с защитными очками, поднятыми высоко на лоб.

У сельского киномеханика выпросил он кадр из рекламы к фильму «Чкалов». Тот, где отчаянный Валерий на хрупком «У-2» пролетает под Невским мостом. Снимки висели над топчаном, на котором спал Лева Коробов.

Разумеется, на призывной комиссии он заявил, что желает служить только в авиации, но комиссия устала от похожих просьб, и, едва взглянув на рослого сильного парня, военком определил его в пехоту. Там потребность в людях была куда значительнее.

Коробов окончил училище, стал командиром пулеметного взвода и в этой невысокой, но трудной должности встретил короткую, тяжелую войну на Карельском перешейке.

Стояла лютая зима 1940 года. Дотрагиваясь в пылу боя голой ладонью до заледенелых станин «максима», пулеметчики оставляли на них полосы кожи.

Батальоном, который неделю кряду никак не мог взять высоту у застывшего озера Кури Ярви, командовал некий Саликов, человек, неизменно мрачный, с землистым неподвижным лицом, в белых неуставных бурках на коротких тонких ногах. Вновь и вновь по его приказу поднимались бойцы на штурм и, сделав десяток-другой невыносимо тяжелых шагов, падали под пулеметным и минометным огнем, пропитывая кровью маскировочные халаты и отвердевший наст, ослепительно сверкавший под холодным карельским солнцем.



На рассвете в воскресенье Саликов приказал пулеметчикам пробраться на склон высоты первыми и закрепиться там, чтобы затем, когда начнется очередной штурм, поддержать его перекрестным огнем с флангов.

Все поначалу шло на удивление удачно. Красноармейцы, — сам Коробов тоже впрягся в салазки, на которые были установлены «максимы», — вытащили пулеметы далеко вперед и, едва наша цепь поднялась, ударили по вражеским позициям густыми очередями. Под прикрытием огня две роты быстро одолели восточный склон злополучной высоты, и вот тогда на них, а заодно — на позиции, которые занимали пулеметчики — обрушился шквал мин. Противник только и ждал, чтобы наши бойцы залегли на участке, где каждая точка была пристреляна заранее.

Коробов помнил, что перед боем комиссар Плотицин, сдержанный, подтянутый кадровик с орденом еще за гражданскую войну, предупредил Саликова об этом, но капитан лишь поморщился брезгливо и попросил политрука, чтобы тот занялся своим делом — настроил людей на успех и только на успех. Еще он заметил, что на войне стреляют и случается, кто-то гибнет в бою. Этот намек Плотицин понял. Он ответил тем, что сам повел в наступление роту и был убит одним из первых. И все-таки прежде, вопреки строжайшему запрету Саликова, он разрешил подразделениям отползти назад, в ложбину, прочь из зоны, где смерть неизбежно нашла бы всех.

Вернулся на исходные позиции и Коробов с остатками своего взвода. Уцелело лишь девять человек из сорока и три пулемета. Спустя полчаса всех командиров вызвал к себе в землянку Саликов. Он был бледнее обычного. Едва разжимая тонкие губы, выкрикнул, уперев серый взгляд в лицо Коробова:

— Шкуру свою спасал! А пулеметы твои где? Учти, до вечера не доставишь их в распоряжение — под трибунал отдам.

В подобных случаях не стоит объяснять, что остались на высоте не пулеметы, а груды искореженного металла. Приказы не обсуждаются.

И вновь стоял Коробов перед коротенькой шеренгой своих бойцов. Он не решился приказывать, он только спросил у измученных и усталых парней, кто пойдет вместе с ним? Понятно было, идти надо почти что на верную гибель, но, как и следовало ожидать, шаг вперед сделали все.

Едва забрезжил февральский рассвет, они попрощались с товарищами и поползли по слежавшемуся снегу к высоте. К оставленным позициям своим на восточном склоне подобрались благополучно, однако разбитые пулеметы вмерзли за ночь в наст. Нечеловеческие усилия требовались для того, чтобы оторвать их, и вскоре на вражеской стороне вспыхнуло зловещее око прожектора, а затем с визгом посыпались мины. Земля,

перемешанная со снегом, взметывалась фонтаном и обрушивалась на пулеметчиков. Маленький боец, который был в паре с Коробовым, — они волокли назад станину и половину ствола, — все, что осталось от «максима» после прямого попадания мины, ткнулся лицом в снег и замер. Коробов едва успел заметить, что лицо паренька окровавлено; в бедро Коробову ударила пуля и тут же, теперь — в обе ноги сразу впились осколки мин. И все-таки он пополз дальше, таща за собой разбитый пулемет, понимая, что спасти может только движение.

Боль в ногах стала невыносимой. Коробов уже не думал о том, что надо прятаться за сугробами, за окаменевшими трупами убитых накануне бойцов. Вражеский снайпер несомненно пристрелил бы его, если бы не хлестнул сбоку меткой очередью по окопам противника наш пулемет. «Самойленко! — все же мелькнуло в сознании у Коробова. — Жив остался сержант...»

Всего лишь на несколько минут отвлекся противник, но этого оказалось достаточно, чтобы Коробов и остатки его группы добрались до траншеи.

В окоп он свалился, уже лишившись сил.

В госпитале Коробов узнал подробности о Самойленко. Оказалось, что сержант этот единственный из всех ослушался Саликова и повел свой расчет в обход высоты, нашел отличную позицию среди нагромождения валунов, пристроил там свой пулемет, не хуже, чем в доте, так надежно, что противник не мог его долго выбить оттуда ни минометным, ни даже артиллерийским огнем.

Пулемет сержанта Самойленко поддерживал и новое наступление на высоту. Его провели десантники, высадившиеся по приказу командира дивизии в тылу у противника, и танкисты. Саликова от участия в операции командир дивизии отстранил. И все же, когда Самойленко, восторженно встреченный товарищами, вернулся в батальон, Саликов наотрез отказался подписывать представление о награждении отважного сержанта. Твердил одно: «Он приказ не выполнил. Спрятался. Его расстрелять надо». Лишь год спустя Самойленко был отмечен наградой.

В госпитале, хотел или не хотел Коробов, мысли его возвращались все к тому же — к штурму злополучной высоты «100». С тоской вспоминал погибших товарищей, особенно комиссара Плотичина и своего молоденького напарника. Стоило прикрыть глаза, вновь видел, как дрогнула щека у комиссара, когда Саликов жестким голосом одернул его и велел выполнять приказ, не рассуждая. Непрестанно точила мысль о том, почему Саликов, вопреки законам тактики, вопреки опыту боя, наконец,

житейской логике наперекор, так настойчиво требовал, чтобы высоту штурмовали именно в светлую пору суток и непременно по восточному склону, где, ясно же было, противник пристрелял едва ли не каждый метр. Доказал же и Самойленко, послушавшись приказа, а затем — десантники, овладевшие высотой за какие-то двадцать минут, что можно было действовать и умнее, и успешнее, а значит — и задачу выполнить, и людей своих сберечь! Волей-неволей получалось, что целью Саликова было едва ли не то, чтобы погубить побольше людей, а заодно — посеять сомнение в успехе, значит — подорвать боевой дух: вот, мол, несчастную высотку за целую неделю взять не смогли...

Вспомнились и все пересуды о Саликове. Некоторые командиры служили под его началом еще до войны, тогда Саликов занимал довольно высокий пост. Потом он исчез. Говорили, что привлечен к ответственности, как скрывший свое прошлое: отец его будто бы был мурзой среди касимовских князьков, Саликов же представлялся сыном батрака. Однако года за полтора до финской кампании Саликов появился в армии снова, хотя и пониженный сильно в звании и должности.

Люди военные принимают необходимость подчиняться старшему как должное, кем бы тот старший ни был и какие бы требования ни предъявлял (рассказывали, к примеру, что именно в праздничные вечера или в день, когда кто-либо из взводных женился, Саликов поднимал командиров по тревоге). Подобное можно было еще понять и даже как-то оправдать. Тревожнее было то, что, несмотря на всю изощренную требовательность Саликова, батальон его на смотрах и проверках неизменно оказывался по боевой подготовке хуже других подразделений. Даже новобранцы уже знали: «К Саликову в батальон лучше не попадай. У него одну пулю по мишени выпустишь, потом три недели будешь свою винтовку драить. Главное для Саликова, чтоб только блеск да лоск...»

В госпитале рядом с Коробовым лежал пожилой, однако не в очень высоком звании командир по фамилии Аврутин, молчаливый, худощавый, морщинистый, с иронично поджатыми губами. У него были обморожены ноги. Рассказал нехотя, что, когда ехал в эшелоне на фронт, попал под бомбежку, а пока подобрали контуженного, сутки лежал неподвижно на морозе.

Хранить сомнения в себе было невозможно, и, слово за слово, Коробов поведал Аврутину о Саликове, попросил совета у старшего товарища: как тут быть?

Аврутин выслушал его все так же молча. Его сидящая голова неподвижно лежала на свалявшейся госпитальной подушке, и Коробов,

было, уже пожалел о своей откровенности, но дня три спустя Аврутин, по-прежнему глядя в стену перед собой, произнес ровным, четким, напоминающим учительский, тоном:

— Ну а если взглянуть по-другому, так, как требует презумпция невиновности?

В ту пору Коробов, конечно, не знал, что означает этот юридический термин, и Аврутин терпеливо разъяснил, что человек до той поры считается невиновным, пока вина его не будет доказана судом.

— А разве факты не говорят сами за себя? — возразил Коробов.

— В том-то и дело, что одни и те же факты можно толковать по-разному. — И, вдруг оживившись, несколькими фразами Аврутин разрушил башню, воздвигнутую против Саликова Коробовым.

Прежде всего он напомнил (и это была правда), что Коробов лично оскорблен Саликовым, а обида велит нанести ответный удар. Затем, используя только те же факты, Аврутин заключил, что двигало Саликовым чрезмерное честолюбие — и все! Он тщеславный, но на беду свою и других — неумелый и не очень умный командир. Однако Коробов не сдавался. Вспомнил о происхождении Саликова, тогда, резко повернув к нему лицо, Аврутин посоветовал:

— А ты поставь-ка на его место себя. Представь, что это тебя в каких-то смертных грехах обвиняют. Доказательства нужны, — произнес он по складам, — а иначе получается оговор.

На том и кончилась беседа, оставившая в Коробове недоумение и досаду, но случилось так, что вскоре пришлось поневоле вспомнить Коробову и о самом Аврутине, и об этих словах его.

Война на Карельском перешейке окончилась в марте, а незадолго до майских праздников Коробова, уже вернувшегося к себе в часть, вызвали на заседание парткомиссии. Председатель зачитал вслух письмо. В нем утверждалось, что Лев Михайлович Коробов — выходец из кулацкой семьи, и что отец его в годы коллективизации был осужден. Потребовали объяснений. Коробов стоял перед столом, застеленным красной скатертью, пораженный в самое сердце. Вот когда невольно вспомнилось: «Поставь-ка себя на его место...» Хотелось вопить, будто за столом сидели глухие: «Как же можно? Все же это — напраслина, по злобе кто-то на меня клеветает». Но, встретив спокойный твердый взгляд председателя и поняв, что тут — не до эмоций, объяснил коротко: отец не только не противился коллективизации, но сам одним из первых вступил в колхоз. Сдал свою собственность, честно трудился на пасеке, а мать — на табачной

плантации. Правда, в тридцать пятом году кто-то в райцентре вспомнил о крестьянах, которые, еще до создания колхозов, не выполняли планы хлебопоставок. В списке этом оказался и Михаил Лукич Коробов. На суде он сумел доказать, что хлеб в том злополучном для него 1929 году не сеял вовсе, болел зиму и весну: его зашибла лошадь. А дети были еще малы и справиться с хозяйством сами не могли.

Все же Михаила Лукича осудили, а семью вскоре выселили из дома. Однако жалобы не остались без внимания: полгода спустя приговор был отменен, Михаил Лукич Коробов — оправдан. Вот и все. И давным-давно, казалось, забыта эта невеселая история. Вольно же кому-то ворошить старое...

Строго глядя на Коробова, председатель комиссии объяснил: Коробов — боевой проверенный командир, его порядочность, партийная честность ни у кого сомнений не вызывают. Но что, если автор заявления прав? Беда же не в том, что отец Коробова противился постановлениям властей и был за это наказан; не все крестьяне сумели сразу отрешиться от веками сложившихся взглядов. Худо, если коммунист Коробов скрыл от партии, от командования правду о своем отце. Вот за что надо отвечать!

Ничего Коробов больше объяснять не стал. Попросил только: пусть пошлют кого-нибудь из членов комиссии к нему на родину, в маленькую станицу под Алма-Атой. Все там друг друга хорошо знают. Сыщутся уважаемые люди, которые и об отце расскажут правду, тем паче, что в районе и документы об оправдании по суду можно найти.

Самыми трудными были дни перед отъездом. Нет-нет, слышал Лев Михайлович шепот у себя за спиной: «Из кулаков... Скрыл...» Еще более было, когда обращались прямо к нему с сочувственными словами, а то и советами: «Покайся. Пиши в Москву...»

В чем каяться? О чем просить?

Отвечал, что убежден: правда свое докажет. Но нелегко стало на сердце, когда за холмами, знакомыми с детства, появилось родное село. Мечтал когда-то: вернется сюда бравым командиром с наградами на новенькой гимнастерке, погордится перед земляками — вот, мол, кем стал подпасок Левка! Теперь же поначалу пришлось глаза от людей прятать. Все узнали сразу, что приехал Коробов не на побывку, а по личному делу. Кто-то, как водится, и слух пустил, что дело-то — едва ли не контрреволюционное, потому что не один он появился, а в сопровождении большого начальника. С ним и в самом деле приехал капитан по фамилии Каландаров, орехово-смуглый ферганец, член партийной комиссии, специально командированный Военным советом в Казахстан по делу

Коробова.

Не теряя времени, понимая, как тяжело переживает Коробов все происходящее, Каландаров занялся проверкой. Осмотрел снаружи старый дом, где давно уже проживали другие люди, опросил соседей, хорошо знавших семью Коробовых, побывал в школе, где когда-то учился Лев Михайлович, беседовал с учителями и с бывшими одноклассниками. К Коробову обращался редко, с короткими вопросами: где проживает такой-то, кто еще знал отца в ту пору?..

Коробов томился неведением. Старый учитель, — он, бывало, предсказывал Леве Коробову (на удивление точно) командирское будущее — утешал: все обойдется, но службу не оставляй ни за что. Ты человек честный, справедливый, я тебя знаю. Такие армии и нужны.

После встречи с учителем стало немного легче на сердце. Но третьи сутки были уже на исходе, а Каландаров все еще не начинал писать заключение. Тогда, решившись, Коробов спросил: может нужны какие-то дополнительные факты? Он, Коробов, сейчас в родном селе кое-что вспомнил.

Каландаров неожиданно блеснул улыбкой. Сказал, что Коробов может спать спокойно. Такие люди, как его покойный отец, кулаками не становились.

Добрыми товарищами вернулись они с Каландаровым к себе в гарнизон, и там Коробову, к его радости, было объявлено: пусть служит по-прежнему, так, будто ничего не произошло.

Но не мог он забыть, сам не понимал почему, об этом деле. День и ночь точила мысль: кто же послал то подлое заявление и зачем? И вот как раз в ту пору судьба вновь свела Коробова с сухим и ироничным Аврутиным, с которым лежали когда-то в госпитале под Ленинградом.

Аврутина Коробов встретил в штабе дивизии на большом командирском совещании. Морща высокий с залысинами лоб, майор предельно внимательно слушал, что говорит командующий. Когда Аврутин отвлекся на миг, Коробов постарался встретиться с ним глазами и даже кивнул. Ему подумалось, что Аврутин не узнал его, однако во время перерыва в курилке Аврутин подошел к Коробову сам. Оказалось, он очень рад, что бывший пулеметчик остался в строю и даже служит в одном округе с ним.

Случилось так, что они и в гарнизон поехали вместе (Аврутину нужно было туда по заданию военной прокуратуры, где он служил). В поезде, неспешно одолевавшем степные километры, поведал майору Коробов о том, что мучило его сейчас. Скорее всего, чтоб скоротать время, как то и

происходит обычно в дороге, рассказал Коробов обо всем и обо всех, кто имел хоть какое-то отношение к его делу. О своих версиях и сомнениях. Обо всех «за» и «против», о том, с кем и какие взаимоотношения сложились у него и у отца, были ли поводы для обид, мести, зависти, материальной и прочей заинтересованности, — всё, из-за чего кто-то мог опорочить Коробовых.

Иное, очевидно, показалось Аврутину наивным, когда Коробов начал вслух вспоминать тех, с кем мог повздорить или кому мог досадить в старших классах; Аврутин коротко хохотнул и молвил:

— Скорее всего — учителям.

И все же что-то в Коробове несомненно заинтересовало майора. Аврутин долго молчал, глядя в окно, за которым один только телеграфные столбы и мелькали, но Коробов уже знал, что майор не торопится ни с ответами, ни с выводами. Наконец Аврутин отхлебнул остывшего чаю и поднял на Коробова глаза в красных прожилках.

— Я же хорошо помню: вы командир-пулеметчик, следственное дело никогда не изучали, практикой не занимались. Но есть в вас, несомненно, эта склонность. Есть. Я еще тогда, в госпитале, заметил, когда вы мне о Саликове рассказывали. Нет-нет! — он жестом остановил Коробова, который был несколько ошеломлен. — Никакого разоблачения Саликова не могло быть и в помине. Тут вы стали, как говорится, жертвой стереотипной версии. Однако не без оснований зацепила вас эта история. Могу вам рассказать теперь, что дознание по поводу штурма высоты «100» действительно проводилось по указанию сверху. И прежде всего было установлено, что штурмовать высоту можно было лишь по восточному склону и никак не иначе. Именно так и приказывал Саликов. Он узнал на совещании в штабе, что только этот единственный склон удалось разминировать нашим саперам. Почему он не довел это до сведения командиров рот или хотя бы комиссара Плотицина? Вот тут — разгадка: вздорный характер, повышенное честолюбие. «Я — начальник, знать — мое дело. А ваше — исполнять приказ...» К слову, и Самойленко потому вызвал ярость Саликова, что мог запросто нарваться на минное поле. Чудо, как это удалось сержанту пробраться со своим расчетом по откосу, утыканному противопехотными минами! Но все же один боец из его расчета подорвался там.

Дальше. Стало известно, что Саликов — попросту однофамилец касимовского мурзы, у которого сам батрачил когда-то мальчишкой-конюхом...

Коробов был обескуражен и смущен. Начал было о том, что он-де все

свои домыслы при себе оставил, но Аврутин перебил: он не сомневается в том, что Коробов человек порядочный и обладающий чувством ответственности. Иначе к чему бы весь этот разговор?

— Но все-таки, — заключил он, — в какой-то мере чутье вас не обмануло. Начальство теперь пришло к окончательному выводу: для командования людьми Саликов — фигура неподходящая. Его перевели в интенданты и, говорят, как раз там оказался он как нельзя более на месте со своей придиричивостью и неуступчивостью.

Но, как молвится, бог с ним. Поговорим лучше о вашем собственном, к счастью, как вы мне уже рассказали, — закрытом деле.

И Аврутин вновь начал расспрашивать, какие версии приходят здесь на ум Коробову? Кто же все-таки из этих людей, о которых он так обстоятельно рассказал, — клеветник? Судя по всему, Коробов не забыл никого. Значит, теперь надо суживать круг, шаг за шагом. Учтем для начала, что автор анонимки должен был хорошо знать всех Коробовых, а не только одного Льва Михайловича. Значит, оставляем лишь односельчан. Дальше. Не станем витать в облаках, мотивы у заявителя самые что ни на есть бытовые, возможно, даже не низкие, а мелкие. Ну можно ли в самом деле допустить, к примеру, что кто-то, сидя в далеком селе, исходит желтой завистью из-за того, что командир Коробов, находясь где-то за тридевять земель, может вскоре получить еще один кубик в петличку?..

Тут Коробов впервые перебил Аврутина, обрадованный тем, что подтвердились его собственные догадки. Он перечислил тех, которым мог быть известен его адрес — название города, где он служил, и номер почтового ящика.

Аврутин взглянул теперь на Коробова, не скрывая одобрения, но возразил: могло случиться, какое-либо из писем утащили на почте или нашли на дороге, либо, скажем, подглядел кто-то адрес. Потому сперва переберем родственников.

Было их не так уж много. Только брату своему и писал Коробов иногда. Брат — тракторист, отвечал на письма редко, причем, — Коробов отметил в своих записях и это, — адрес на конверте всегда был выведен не его корявым почерком, а четким, аккуратным. Так могла писать невестка, учительница, с которой брат прожил совсем недолго. Года через два после свадьбы они разошлись, а нынешней зимой и развод свой оформили. Женщина она была, по заключению Коробова, неплохая, только чересчур раздражительная.

Аврутин заметил строго: не только в характерах, трудных или прекрасных, с житейской точки зрения, надо ответ искать. Поступки людей



нередко диктуются обстоятельствами, настроением, чувствами.

На том и расстались, договаривая последние фразы уже около штабной легковушки, которую прислали на станцию за Аврутиным. На прощание майор посоветовал Коробову довести это расследование, он назвал его с усмешкой — частным, до конца. Сказал, улыбаясь щербатым ртом, что стоит это сделать хоть «спортивного интереса» ради. Коробов посетовал на то, что не разрешили ему самому с делом ознакомиться, сдано, мол, оно в архив, чего тебе еще? Аврутин по-свойски хлопнул его по плечу. Нет худа без добра! Зато Коробов сможет убедиться, по плечу ли ему самостоятельная проверка. Дал свой телефон, просил звонить и глядел на Коробова все время так, будто прикидывал, соответствует ли этот молодой командир какой-то лишь Аврутину известной мерке.

Многое было пока Коробову непонятно во всей этой затее, однако, получив отпуск, он так, будто решено было все заранее, выписал проездные документы снова в свою станицу. Теперь там, кажется, вовсе уж никого из родных не осталось. Брат после развода уехал в Алма-Ату, работал там шофером.

Совсем иначе воспринял теперь Коробов знакомые места. С удовольствием бродил по улицам, по окрестным горам, любимым с детства. Рассказывал землякам, школьным товарищам о боях под Выборгом, о командирской службе, слушал их, но замечал: о чем ни зашел бы разговор, пытается свести его к главному, что волновало, — к анонимному клеветническому письму. Разумеется, напрямую не говорил об этом; люди сами сочувственно замечали: вот же совершила какая-то гадина подлость! Однако даже догадок на этот счет никто пока не высказывал. Один лишь Федька Сухорукий, шестидесятилетний отпетый пьянчужка, зацепил Коробова у сельской лавки, опасливо скосил опухший глаз и прохрипел на ухо, что это участковый милиционер, никто иной, накапал на него, на Левку. Тут же Сухорукий намекнул, что не худо бы опохмелиться. Коробов отвязался от пьяницы, лишь сунув в корявую ладонь бумажку, ради которой, понятно, и был затеян зряшный разговор.

Однако как ни странно это было для самого Коробова, размышляя и ночью все о том же — о своем деле, начал он невольно вспоминать участкового — поджарого кавказца по фамилии Гаджиев. Случилось однажды не очень приятное столкновение с ним, когда Коробов после училища приехал на побывку и заглянул в райцентр, повидаться со знакомыми ребятами. Пошли, как водится, в клуб, посмотрели картину, потом начались в фойе танцы, и тут же явился этот Гаджиев и велел баянисту прекратить музыку. Парни возмутились, девушки были огорчены.

Пожаловались Коробову: не впервые поступает этот Гаджиев так. Объясняет тем, что на танцах бывают стычки между парнями, а потому лучше, в порядке профилактики преступлений — от греха подальше.

Чувствуя за собой некоторую силу, Коробов — он был в новенькой коверкотовой лейтенантской форме — по-дружески попросил милиционера, чтоб тот отменил свой нелепый запрет. Гаджиев упорствовал, и тогда Коробов, что было, конечно же, лишним, напомнил, что участковый мог бы посчитаться с просьбой старшего по званию командира, тем паче что Коробов принимает ответственность за этот вечер на себя. У самолюбивого Гаджиева даже усики дрогнули. Он кивнул баянисту: «Ладно! Начинай!», и обрадованные пары запрыгали под фокстрот «Рио-Рита».

Весь вечер стоял Гаджиев у порога, играя желваками, а когда Коробов оказался рядом, сквозь зубы бросил:

— Жизнь большая. Посмотрим еще, кто кого обскачет...

...Вот те и мудрец Аврутин! Кто, дескать, станет завидовать лишнему кубику в коробовской петлице? И адрес, кстати, тоже мог узнать участковый милиционер безо всякого труда на той же почте хотя бы.

Едва рассвело, отправился Коробов в райцентр. Ему сказали там, что участковый, — уже младший лейтенант, — сейчас на курсах в Алма-Ате. Узнав об этом, Коробов испытал даже некоторое облегчение: он не представлял, как вести себя с Гаджиевым? Не спросишь же в упор: не ты ли на меня поклеп послал?

Он завтракал в чайной. Накурено там было до того, что оконный свет пробивался, словно из-за туч. Буфетчица Люба узнала его. Восторгалась («Какой ты представительный стал, Левушка!»), перебрала всех общих знакомых, вздохнула несколько притворно о том, что вот, мол, невестку твою, Галя, брат твой оставил. Жаль, конечно, да и то сказать: слишком много понимала из себя эта Галя, или Галина Семеновна. Она, дескать, культурная, в Кызыл-Орде училище кончила, а Сашка кто такой? Тракторист. Керосином от него разит за версту. Вот здесь, в чайной, Галя об этом и говорила, Люба своими ушами слыхала. Выпила стакан красного украдкой (учительница все же!), а потом и начала: «Пусть Сашок не думает, что легко отделался. Коробовы еще попомнят меня. Я имею полное право весь дом их отсудить. Все равно Беклемишевы занимают его незаконно...»

Люба болтала уже о чем-то другом, любопытствовала, где, мол, остановился молодой лейтенант. Но Коробов, поглощенный нахлынувшими мыслями, слышал теперь ее голос будто из-за стены.

Да, да! Беклемишевы, Беклемишевы... Это же они поспешно заняли

отцовскую усадьбу в том злополучном году, когда его арестовали. Родич их был в ту пору председателем сельсовета, он-то и поторопился передать им собственность, изъятую у «классового врага», а когда Михаил Лукич был оправдан, затеял волокитное дело с выселением, до того нудное и тягостное, что отец рукой махнул на свою усадьбу. А вот Галя, выходит, оказалась настойчивей...

Словно издалека донеслось, как выпекает Люба:

— Дом-то они, конечно, ей не отдали, пустили, правда, во флигель (Люба произнесла — «флигер»), они его уже потом сами поставили, за огородом, там, где две орешины.

Теперь Коробов почувствовал, что напал на верный след. И не важно было, что Люба продолжала:

— Всё трясутся Беклемишевы до сих пор, не явишься ли дом у них требовать; закон-то на твоей стороне, Лева! А Сашка для них не страшный: он, говорят, когда разводились, расписку Гале выдал: так, мол, и так, отказываюсь от всего имущества в пользу бывшей жены, поскольку она меня на всем готовом содержала, когда я после аварии, покалеченный, работать не мог...

И снова оказался прав Аврутин: «Мотивы могли быть самые бытовые...» Он сомневался еще, но действовать решил, идя напролом. На попутной вернулся в Тургень, уже в темноте перемахнул через знакомую ограду, забрался на толстую ветвь орешины, заглянул в освещенное окошко флигеля. Наклонив низко черную, но уже с нитями седины голову, Галя шила. Игла быстро мелькала в ее руках.

Дверь была незаперта, и Коробов неожиданно появился на пороге. Галя, хотя и знала о его приезде, и видела его в селе, вскрикнула испуганно и упала грудью на шитье.

— Зачем ты сделала это? — спросил он, не в силах справиться с учащенным дыханием, и она уронила голову на вытянутые руки и произнесла сквозь слезы:

— Беклемишевы, будь они прокляты, злыдни...

Утром он вновь подошел к родной усадьбе. Хотел застать Беклемишевых, чтобы они в лицо ему поглядели. Новые прочные ворота была заперты изнутри, так же как и ставни на окнах. Видно, Беклемишевы учуяли, что он накануне нанес тот тяжкий визит своей бывшей невестке. Коробов пошел вдоль ограды к задней калитке, чтоб пройти огородами, приподнялся над забором и вдруг увидел две русые выгоревшие головенки. Притаившись в зарослях кукурузы, мальчики, несомненно посланные

родителями, следили за ним с недетской неприязнью и страхом.

Он спрыгнул с забора на пыльную тропку, махнул рукой так же, как, очевидно, когда-то его отец, и ушел прочь от прошлого, не оглядываясь. Подумалось по пути: благо, не оказалось милиционера Гаджиева на месте...

Коробов и в самом деле уже забыл обо всей этой истории, как о дурном сне, но однажды в гарнизонном клубе встретил его вновь майор Аврутин. Сам подошел к нему, поинтересовался, узнал ли Коробов, кто написал тогда на него? Коробов ответил в двух словах.

— Ну, ладно, — неопределенно заключил Аврутин, пожал Коробову руку и удалился своей невоенной походкой, широко расставляя ступни.

Весной 41-го года Коробову предложили, если он желает, перейти на работу в милицию. Он был назначен старшим инструктором политотдела милиции в Алма-Ате, но всего три месяца спустя началась война, и в первый же день он сам явился в военкомат, заявил, что молод, здоров (ранение не в счет), имеет боевой опыт. Не сомневался, что уйдет на фронт во главе маршевой роты, а ему неожиданно велели ждать дополнительного вызова. Неделью спустя сообщили, что назначается Коробов на службу в особый отдел.

Лишь через много лет узнал Коробов, что в его личном деле находилась письменная рекомендация военного прокурора Аврутина.

Задача у особых отделов была такая: выявлять и пресекать деятельность вражеской агентуры в военной среде. Вскоре присвоили им и название, наиболее отвечающее духу суровой поры, — «СМЕРШ».

## ТРЕТИЙ ВЫСТРЕЛ

Уже полтора года шла война.

В длинном приземистом помещении штаба была выделена Коробову комната с низким потолком, глинобитным полом и единственным окном. Служила она ему и кабинетом, и жилищем. У окна был поставлен стол и табурет, в углу — несгораемый шкаф, у стены кровать, на которой спал Коробов: пистолет под подушкой, на полу у изголовья — телефон. Едва загудит зуммер, можно, не открывая глаз, нащупать трубку. Порой все ограничивалось коротким разговором, но чаще приходилось подниматься среди ночи или на рассвете и спешить к машине, вылинявшей и все-таки на редкость выносливой довоенной «эмке». Так было и первого января 1943-го года, когда где-то около пяти утра позвонили из района. Дежурный по гарнизону торопливо сообщил, что в одном из бараков на берегу реки заперся военнослужащий и никого к двери не подпускает, угрожая наганом. Прежде в комнате раздалось три выстрела подряд.

Дежурный докладывал о происшествии уполномоченному «Смерша» потому, что так требовала инструкция: дело касалось армии. Коробов не сомневался, что на месте что-то уже предпринимается. Кто знает, может, и не имеет это событие никакого отношения к «Смершу». Сколько уж раз случалось: поднимут шум, а на поверку — выеденного яйца не стоит дело. Тем паче ночь новогодняя. Не исключено, выпил кто-то лишнего и бузит...

Рассуждения не были лишены логики, однако Коробов отлично понимал и то, чем навеяны они. Все сотрудники отдела, кто не был занят оперативной работой, встретили Новый год, выпили за победу, за близких, посидели вместе. Всего лишь два часа назад он уснул. До смерти не хотелось теперь вылезать из-под колючего, но уютного шерстяного одеяла, выходить на обледенелую улицу, ехать в седом, пробирающем до костей тумане по тряскому булыжному шоссе...

Пока «эмка» добиралась до предгорного района, уже рассвело. Они подъехали к заснеженному, унылому в эту пору берегу обмелевшей реки, вдоль которого тянулись слепленные кое-как бараки и мазанки, около одной из них топталась небольшая группа военных. Коробов увидел морщинистого лейтенанта из запасников, начальника комендантского патруля, с тремя бойцами и нескольких военнослужащих из танкового училища. Их, как доложил сразу же Коробову пожилой лейтенант, он вызвал сюда, выяснив, что заперся в комнате старшина из хозяйственного

взвода, обслуживающего училище. Уже называли и фамилию преступника — Скирдюк. Он заведовал в училище продовольственным складом и столовой.

— Как сыр в масле катался, паразит, — сказал о нем лейтенант, морща красноватый с глубокими залысинами лоб. — Какого беса ему не доставало, спросите? Жрал,пил вволю, девок менял...

Сведения эти уже были получены, очевидно, от двух приятелей Скирдюка. Один из них, высокий, костлявый, служил поваром в курсантской столовой, второй — рыжеватый, надменный с виду был писарем в штабе. Оба носили лишь сержантские звания, но одежда на них была отменная, командирская, куда более щеголеватая, чем у лейтенанта — начальника патруля.

Разобравшись в обстановке, отметив сразу же как важное обстоятельство то, что о выстрелах сообщил в комендатуру по телефону хриплый мужской голос, Коробов подозвал к себе этих двоих.

— Подойдите как можно ближе, выясните, есть ли в помещении кто-либо, помимо Скирдюка, и передайте приказ: пусть выходят и не сопротивляются, — велел он.

Сержанты, однако, мялись, переступая с ноги на ногу.

— Вперед! — тихо, но требовательно повторил Коробов. Он все же добавил, чтоб успокоить их: — В вас стрелять не станут. Вы же приятели.

Нехотя двинулись они к барaku по заснеженной дорожке, оставляя на ней своими начищенными хромовыми сапогами глубокие следы. Идя, они кричали:

— Эй, Степан! Старшина! Не пали! Это — мы. Два слова сказать надо.

Рука с наганом все еще высывалась из форточки, однако сержанты подошли почти к самому окну, поговорили с минуту не больше и поспешно возвратились в овражек.

— Говорит, он Нельку застрелил, — сообщил, не глядя на Коробова, писарь. Он был по-прежнему сдержан, однако веснушки на его лице побелели.

Повар вел себя более возбужденно. Вытягивая длинную шею, прерывисто дыша, он произнес:

— Точно! Валяется Нелька поперек кровати в одежде, как мертвая. А больше никого не видать.

— Вы предложили ему сдаться?

— Он вот что ответил, — писарь гмыкнул и сделал непристойный жест.

— Идите снова туда и повторите предложение в последний раз, —

жестко велел Коробов. Он видел, что с губ писаря готово сорваться: «Сами, мол, идите, коль жизнь не дорога», и напомнил: — Вам приказано — действуйте!

Они встретились с непреклонным взглядом глубоко посаженных глаз капитана и обреченно побрели к барaku снова. Едва сержанты одолели половину пути, Коробов кивнул своему подручному Никишину, в недавнем прошлом — фронтовому разведчику. Похожий на подростка юркий Никишин по-змеиному быстро пробрался вслед за сержантами к барaku и, едва они вступили снова в короткий разговор со Скирдюком, закинул за дверную скобу конец веревки, вытянул его на себя, вскочил и помчался, пригнувшись, к овражку.

Люди, приданные Коробову, понимали его с полуслова. Едва Никишин вернулся, восемь рук, Коробова в том числе, натянули веревку до предела, дернули ее по команде на себя, сорвали дверь с петель и кинулись к барaku. Расчет строился на том, что Скирдюк неизбежно опешит хоть на миг, и его удастся опередить.

Так и вышло. Едва старшина, слепо шаря перед собой наганом, показался в зияющем дверном проеме, Никишин кинулся под ноги ему, а Коробов вышиб из пальцев падающего Скирдюка наган.

Уже со связанными за спиной руками, Скирдюка проводили мимо недавних его приятелей. Коробов ожидал, что он кинет им нечто злое: «Суки!» или еще какое-то словечко, которым в преступном мире клеймят предателей, но старшина будто не заметил повара и писаря. Шел, высоко вскинув небольшую голову, украшенную курчавым чубчиком, смотрел перед собой в пространство безразличными ко всему желтоватыми глазами на мертвенно бледном лице.

В крохотной квадратной камере лежала поперек кровати женщина в белом платье с веселыми вылинявшими цветочками и синей бумазеевой кофте, на которой расплылось обширное темное пятно. Рядом с ним застыли скрюченные судорогой пальцы: очевидно, убитая ухватилась рукой за простреленную грудь. Кисть этой руки тоже была окровавлена. Лицо, искаженное гримасой боли, казалось старушечьим.

«К чему было трижды кряду стрелять в эту хрупкую, очевидно, не оказывавшую сопротивления женщину?» Вопрос этот, впрочем, был попросту отмечен памятью. Сейчас надо было осмотреть место происшествия.

Итак, дверь из комнатки, — ровно три шага вдоль и три поперек, — выходила прямо на улицу. Громоздкая металлическая кровать Наили, или как называли ее соседи — Нельки, занимала едва ли не половину этой

каморки. Стены, выпяченные внутрь, были когда-то побелены известью; теперь на них кое-где проступила ржавчина.

Над кроватью висело несколько фотографий, на одной была изображена светлоглазая девочка с застывшим взглядом, а рядом — большеротая, улыбающаяся женщина — Наиля в разную пору своей недолгой жизни. В деревянном чемодане под кроватью хранился ее небогатый гардероб. Пальто с вытертым цигейковым воротником висело на спинке кровати.

Стол служил довольно широкий подоконник. На нем стояла тарелка с остатками пищи — вареная колбаса, селедка и соленые помидоры, банка с яблочным повидлом, две книжки (одна на другой), пустая бутылка и четыре граненых захватанных стакана. На одном остались следы повидла. Такие же свежие следы Коробов заметил и на книжке, лежавшей сверху. Это был один из выпусков дореволюционной «Дешевой библиотеки». Какая-то повесть без начала. Коробов машинально пробежал глазами пару страниц. Речь, как он понял даже при беглом знакомстве, шла о том, что некий Эмиль застрелил свою возлюбленную госпожу Моро, с которой они прежде условились уйти из жизни вместе. Госпожа Моро надела самое красивое платье, поцеловала Эмиля в последний раз; он выстрелил в нее, но себя убить так и не смог.

На этом месте взгляд Коробова и споткнулся. Помимо всего, он заметил внизу страницы жирный селедочный след большого пальца.

Вторая книга была растрепанным учебником политэкономии. На сером картонном переплете отпечатались множество кружков, оставленных доньшком горячего чайника. Сейчас чайник, едва теплый на ощупь, стоял на плите, сооруженной в противоположном от окна углу. В узкой топке лежала горкой зола, сквозь которую просвечивали розовые угли. Очевидно, протопили печь уже давно.

В подобных случаях возникает необъяснимое побуждение — пошевелить угли, и Коробов уже взял прислоненную к боку плиты проволочную кочерёжку, но вдруг остановился. Он заметил поверх золы свернутый от жара трубкой, испепеленный листок бумаги. Взять его, к сожалению, было невозможно: он грозил разлететься в прах, едва пальцы приблизятся к нему. Он даже под направленным на него лучом карманного фонарика подрагивал, однако Коробов все же разглядел проступающие неровные строки, написанные от руки. Нечего было, разумеется, и мечтать о том, чтобы прочитать сгоревший текст, но все-таки, стараясь не дышать на изгарь, он разобрал слово, которое повторялось чаще других.

То было имя, оканчивавшееся на «берт». Возможно — Альберт и



рядом фамилия, прочитать которую было невозможно.

Прежде всего следовало решить, подведомственно ли, а иными словами — представляет ли интерес это дело для «Смерша» или оно должно быть передано военной прокуратуре. Как всегда, немалое значение имела биография Скирдюка. В течение суток, прошедших после ареста, Коробов собрал немало сведений о Скирдюке из документов, которые хранились в канцелярии училища, из показаний свидетелей, из материалов обысков. Вздремнуть ему удалось лишь на обратном пути в Ташкент; да и то, просыпаясь, когда «эмку» встряхивало на булыжном в ту пору Луначарском шоссе, Коробов продолжал привычную работу: раскладывал по соответствующим полочкам все, что успел узнать о Скирдюке и убитой Наиле Гатиуллиной. Взвешивал, взвешивал, поворачивал детали так и эдак, остерегаясь, однако, согласно незыблемому правилу своему, делать сразу выводы.

Итак, Скирдюк родился и жил в большом селе на Украине, из армии был уволен старшиной, а в начале войны призван снова. Уже в июле 1941 года оказался он вместе со своей частью в окружении. Многие однополчане его были взяты в плен и увезены в лагерь, Скирдюк же зимой следующего года во время короткого контрнаступления, когда у немцев были отбиты под Великими Луками несколько сел, объявился в нашем расположении. Он рассказал, что скрывался на хуторке у вдовой молодницы, помогал ей в обезмужиченном хозяйстве. Немцы на этот хуторок, затерянный среди безбрежных лесов, по его словам, не заходили.

Версию такую можно было считать правдивой: спасаясь от плена, некоторые наши солдаты становились в фашистском тылу теми, кого называли «примаки».

Из Великих Лук, после соответствующей проверки, Скирдюк был направлен в Узбекистан. Почему? Здесь все тоже выглядело логично. Оказавшись опять среди своих, Скирдюк подал командованию рапорт, сообщил, что незадолго до войны хотел поступить в Харьковское танковое училище, однако тогда ему было отказано из-за того, что окончил он только восемь классов. Теперь же, во время войны, в училище в порядке исключения принимали фронтовиков, не имеющих полного среднего образования. Скирдюк просил, чтобы такое исключение было сделано для него.

Разумеется, нечего было и думать о том, чтобы найти еще довоенное заявление Скирдюка: когда училище эвакуировалось из Харькова, все бумаги, не имеющие большого значения, сожгли.

Скирдюку поверили и направили учиться на танкиста в Узбекистан.

Все здесь не вызывало сомнений, так же, как судьба Скирдюка уже в стенах училища. В деле его хранились документы и врачебные заключения, свидетельствовавшие, что едва ли не на первых тактических учениях, еще проходя курс подготовки молодого бойца, курсант Скирдюк, спрыгивая на ходу с танка, серьезно повредил правую ногу и вынужден до сих пор периодически лечиться. Он был списан в нестроевые, мог уйти из армии, однако обратился к начальству с просьбой, чтобы его оставили в училище на службе. «Докуда прокляти враги топчуть Украину, мое место в армии», — было написано рукой Скирдюка. Далее — в деле был подшит рапорт начальника продовольственной части, некоего Хрисанфова, по званию старшего лейтенанта, с просьбой к командованию о назначении кладовщиком на склад Скирдюка, который «еще у себя в селе работал в кооперативе, знает немного товароведение, документацию и умеет работать на счетах».

Просьба Хрисанфова была удовлетворена, Скирдюк начал служить кладовщиком, очевидно, проявил себя не только расторопным, но и умеющим угодить кому надо, и в короткий срок дорос до начальника склада и столовой.

Ему было двадцать семь лет. Он был черняв, высок, строен, а хромота, как известно еще с лермонтовских времен, придает человеку в шинели даже известную романтичность. Был Скирдюк к тому же независим от казарменной дисциплины, а в портфеле у него рядом с накладными и квитанциями лежала всегда и бутылка, и кольцо колбасы, и банка консервов. Мудрено ли, что дружки и женщины, и те, и другие — известного рода, липли к нему.

Тут-то и возникла первая загадка, которая останавливала Коробова, когда он уже подумывал, не передать ли дело в военную прокуратуру.

— За что ты ее, Степа? — спросил все же один из приятелей, писарь, когда Скирдюка вели к машине.

— За что? За любовь, конечно...

И Скирдюк, заметил Коробов, съежился при этих словах.

Об интимной стороне его жизни тоже было уже кое-что известно.

— Приходили, приходили. Вы думаете, только женщины? Девочки даже, — охотно рассказывала грузная парикмахерша, окна ее мастерской смотрели в переулок, где Скирдюк с разрешения командования снимал комнату. — Какая-то из ремесленного бывала, потом одна блондинка в пальто с пушистым воротником. Я не знаю, конечно, чем они там занимались. Какое мне дело? Зашли — вышли.

Так вот: Наиля Гатиуллина была старше Скирдюка на шесть лет. Чуть

скуластое лицо, светлые глаза, но что-то неуловимо привлекательное во всем скромном облике. Снимки были сделаны давно, когда Наиля работала на заводе в Башкирии. В альбоме у Наили лежала и газета-многотиражка, на первой странице которой было помещено фото: стахановка-лаборантка Гатиуллина Н. А. за работой. Снимок был неудачный. Наиля выглядела чрезмерно широколицей и большеротой, может потому, что фотокорреспондент, подобно всем своим коллегам, заставил ее улыбаться... Нет, что ни говори, на роль красотки, которую убивают из ревности или из-за неразделенной любви, женщина эта не подходила.

Впрочем, только ли это? Вопросы возникали один за другим. Наиля работала в лаборатории «Невская»<sup>[1]</sup>, эвакуированной из Ленинграда. Так вот, не имела ли Наиля доступ к секретному производству? Давно ли началась ее связь со Скирдюком? Не говоря уже о том, что загадкой оставалось самое главное — мотивы жестокого убийства, к тому же такого, скрыть которое никак не удалось бы. Да Скирдюк, по всему судя, и не стремился к этому...

Коробов уже доложил начальству о происшествии по служебному телефону. Теперь он направлялся в Ташкент, чтобы все-таки получить разрешение на передачу дела прокурору, и, что греха таить, хоть немного отдохнуть, но с каждым километром, подмятым под колеса «эмкой», все больше возрастала и его тревога. Он был теперь почти убежден, что, теряя время, упускает нечто чрезвычайно важное.

Показались глинобитные домики, беленые дувалы пригорода.

— Стой! Поехали обратно!

Шофер, привыкший за время службы в «Смерше» ничему не удивляться, притормозил и начал разворачивать машину на узкой дороге назад.

Что-то тянуло Коробова к убогой комнатке на берегу, в саманном поселке.

Комната зияла дверным проемом. Хлипкая дверь валялась неподалеку. Накладка с искривленными гвоздями, вырванными из рамы, удержалась на язычке врезанного замка, но ключ, которым была заперта дверь изнутри, найти не удалось, как ни искали его в первое же утро. Не оказалось его и у Скирдюка в карманах при обыске. Возможно, когда дверь сорвали, ключ улетел далеко в сторону. Где уж там было пытаться найти его среди присыпанных снегом ржавых банок, обрывков жести, камней, которыми было усеяно все окрест. И все же теперь внимание Коробова, когда он вновь попытался отыскать ключ, привлекла папиросная коробка — «Северная Пальмира» с изображением сфинкса на Невском берегу.

Папиросы были дорогими и легкими. Отнюдь не те, которые предпочитает курить рабочий человек. К тому же, никто не бросил бы сдуру почти полную пачку: папиросы с красивыми золотыми марками на мундштуках лежали одна к одной, нетронутые. Значит, кто-то совсем недавно уронил здесь «Северную Пальмиру» случайно. Уронил то ли будучи пьяным, то ли — от испуга, то ли — в спешке.

Он бережно поднял «Северную Пальмиру», перевернул пачку и увидел номер телефона, записанный химическим карандашом. Цифры на бумаге расплылись; теперь можно было только гадать: не то 3-93-44, не то 3-03-14, а может 3-03-19 или что-то еще похожее.

И все же коробок в сочетании с телефонным звонком в комендатуру (звонить могли только из дому; автоматов в ту пору в поселке не было) и этим номером, пусть пока не уточненным, был находкой важной. Не оставалось к тому же сомнений, что брошена здесь «Северная Пальмира» недавно: папиросы даже не успели отсыреть.

Коробов вошел еще раз в комнату, охраняемую теперь ефрейтором из комендатуры. Вновь осматривал он небогатое жилище Наили Гатиуллиной.

Посуда и даже обе книги по его указанию были уже отправлены с необходимыми предосторожностями на дактилоскопию, хотя сомнений не вызывало, что, к примеру, след большого пальца, измазанного селедкой, на последней странице сентиментальной пожелтевшей повести, принадлежит старшине Скирдюку. Не исключено, что он читал эту книжицу вслух, прежде чем застрелить Наилю. Да и она сама, наверное, не раз листала страницы; на некоторых остались следы яблочного повидла (Коробов запомнил это), того самого, которое еще оставалось в банке на подоконнике. Повидло — пища небогатая, очевидно, не было принесено сюда Скирдюком; банку эту выдали Наиле на карточку, вместо сахара.

Итак, можно было предположить, что Скирдюк станет утверждать, будто они с Наилей решили, подобно госпоже Моро и ее возлюбленному, уйти вместе из жизни, но вот у него, так же как у Эмиля из повести, духу не достало, чтобы и самому застрелиться тоже. Впрочем, для подобной версии требуется, чтобы любили друг друга Скирдюк и Наиля Гатиуллина так же жестоко, как любовники из старой повести, да чтоб и препятствия на пути к общему счастью были так же непреодолимы для них.

Начнем с любви. О ней должны знать подруги. Таковых почти не оказалось. Соседи рассказывали, что на улице, даже в благостные теплые вечера, Наиля показывалась редко. Работала, правда, много, а придет — тут же запрется. Даже свет не всегда зажигала по вечерам. Если и заглядывала к кому ненадолго, так это к Клаве Суконщиковой, дверь которой была

рядом в том же бараке.

Клава, молодая мать-одиночка, держа на коленях годовалого Витьку, стреляя по сторонам острыми глазами, долго рассказывала о всякой всячине, имеющей лишь косвенное отношение к Наиле, и вдруг (Коробов терпеливо дожидался этого) сообщила, словно о чем-то пустом:

— Да не любила же Нелька того паразита, Степана. Ну, может, вот столечко (Клава отвела в сторону Витькин мизинец), и то — поначалу. Как раз в последний день (тут Клава непритворно всплакнула), перед тем, значит, как Степка ее порешил, увидела меня возле колонки, я как раз белье полоскала, и говорит: «Нужна я ему, как той рыбке зонтик. Мучает меня только — и все». И рассказала, как ей переживать приходится. Будто бы позорила ее недавно какая-то Зинка с автобазы. Расфуфыренная вся из себя, рассказывала Нелька, кубаночка серенькая на ней; папаша этой Зинки, говорят, большие тыщи гребет. Нелька, значит, пошла карточки отоваривать, стоит со всеми в очереди, а тут машина подъезжает, вылезит эта Зинка и сразу — в дверь. Ну, женщины, конечно, не пускают ее, а она им: «Я по личному делу». Нелька не выдержала, стала говорить, что они после смены два часа стоят, а тут какая-то финтифлюшка вперед лезет, а та, значит, узнала ее и говорит так ехидно: «Что ж ты за какой-то повидлой несчастной два часа стоишь? Наверное, мало дает тебе за твои услуги один военный? Поговорила бы я с ним, чтоб платил получше, да за такую дешевку даже дурак много не даст». Нелька слова сказать не смогла в ответ. Расплакалась да и побежала. Только лицо руками закрыла. А я бы, — добавила Клава, — всю бы краску на морде у этой паршивой Зинки размазала.

Коробов не усомнился, что именно так и поступила бы эта Суконщикова.

— Почему же и после этого случая принимала все-таки Неля Скирдюка? — спросил он.

Клава усмехнулась, снисходя к его наивности:

— Да какому ж мужичку наша сестра нынче не рада? А тут — Степка этот. Про таких говорят: «И удовольствие, и продовольствие», — Клава засмеялась, показав неровные зубы. — Не то что мой: переночевал под первое мая да под октябрьские и полетел фашистов сбивать. Спасибо, на память оставил, — и Клава зло подкинула захныкавшего Витьку.

— Значит, все-таки, выходит, любила Скирдюка Неля?

— Обманывал он ее, — сердясь на непонятливость Коробова, возразила Клава, — все вы нас, баб, обманываете. Получите свое — и в кусты. Конечно, поначалу Нельке вроде бы лестно было. Зинка эта,

диспетчерша, рассказывали, от ревности прямо зеленая стала, никакие пудры не помогали. Она же моложе Нельки лет на десять, не меньше. Но все-таки Нелька гордая была. Как раскусила Степана, так и сказала, чтоб больше не ходил. А он — настырный. Стучит, стучит... Она и откроет. Как раз под Новый год было. Слышу, шумят. Витька у меня не спал. Только он угомонился, Степан дверью как хлопнет, крикнул что-то и пошел. А потом опять вернулся.

— А Неля — что же?

— Пустила. Разве ж нас поймешь? А потом, значит, и порешил он ее, подлец.

— Тянуло его, выходит, к Неле, хоть и старше других, хоть и не такая уж красивая?

Клава пожала плечами и сообщила как о чем-то вовсе уж пустяковом:

— Чудной он все-таки какой-то, а может — псих. Потому и застрелил ее, наверное. Как выпьет, так и начинает петь Нельке: «Ты — солдат тыла. На таких весь фронт держится. Не зря тебе талоны на усиленное питание выдают. Так, наверное?» Нелька, конечно, молчит. Есть вещи, про которые говорить не полагается. Это мы понимаем.

Коробов помолчал. Достал из полевой сумки пачку печенья (сухой паек), дал Витьке (тот тут же начал облизывать глянцевую обертку) и попрощался.

Теперь, занявшись делом по-настоящему, Коробов прямо от Клавы Суконщиковой отправился в отдел кадров лаборатории, где работала Неля. В тоненьком личном деле Гатиуллиной Наи́ли Мингазовны он прочел ее автобиографию, едва занявшую треть листка: «...родилась в 1910 году в селе Еремеево Башкирской АССР, окончила 7 классов и нефтяной техникум в городе Саратове, впоследствии работала на нефтекомбинате в Черниковске.

Отец ушел к другой семье, когда мне было шесть лет. Мать, Гатиуллина Минавар, 1887 года рождения, умерла в 1940 году от сердца...»

Затем в деле были подшиты копии приказов. Последний, датированный декабрем 1942 года, гласил, что Гатиуллина Н. М. принята на должность лаборантки. На копии стоял оттиск штампа «секретно».

Днем Коробов велел привести Скирдюка на первый допрос. На лице Скирдюка, изрядно осунувшемся за прошедшие после убийства сутки, застыло выражение безразличия ко всему на этом и на том свете, однако Коробов сразу же вывел его из состояния равнодушия, то ли

действительного, то ли мнимого.

— Вот что, Степан Онуфриевич, — сказал Коробов, заполнив первую страницу, где записал обычные сведения о допрашиваемом, — сейчас — война, времени у всех в обрез, у меня тем более, поэтому давайте сразу отбросим легенду о вашей несчастной любви с Наилей, о том, что вы решили вместе уйти из жизни, но рука на себя у вас, мол, не поднялась.

Желваки на проступивших скулах Скирдюка заходили. Он ожидал, очевидно, чего угодно, но только не такого начала.

— Откуда вам про это известно? — спросил Скирдюк с недоумением, похожим на суеверный испуг.

— Спрашиваю здесь я, — напомнил Коробов, — ваше дело — отвечать, а потому скажите, сколько выстрелов было вами произведено?

Скирдюк вскинул на него из-под нахмуренных густых бровей тяжелый взгляд. В нем мелькнули недоумение и страх, и это не укрылось от Коробова.

— Разве ж это я стрелял? — начал Скирдюк хрипло и тут же закричал, с силой стукнув себя в грудь. — Оно, оно во мне горело.

Он произносил по-южному: «воно, оно...»

— Так, Степан Онуфриевич, выходит, склоняете вы нас все-таки к той же версии: убийство на почве трагической любви? — Коробов вздохнул. — Что ж, дело ваше... Будем опровергать. Итак, если вот здесь, — Коробов указал на сердце, — такая огромная любовь, других женщин к себе не приглашают. Ремесленниц, к примеру, или медсестер. И с диспетчером Зиной не заводят романов тоже. Как это вы все свяжете вместе?

Скирдюк вновь повел встревоженно глазами, но тут же хмыкнул пренебрежительно:

— Намололи уже вам бабы. Языки без костей...

— Проведем очные ставки, если вы настаиваете на большой любви.

— Да мне один теперь хрен, — раздраженно бросил Скирдюк, — что вам полагается, то и проводите. Все едино — к стенке. Того я поскорей и желаю. Не мучили бы только разговорами, а сразу. Мне теперь жисть не в жисть.

— Без Нели?

Скирдюк засопел и кивнул.

— Пусть так. А сколько патронов было у вас в барабане?

— Не помню, — ответил Скирдюк глядя в пол. — Я никогда полный не заряжаю.

— Барабан сейчас пустой.

— У меня всегда не хватает.

— Можете объяснить, почему?

— Привычка.

— Не верю. Вы военный и знаете, что магазин у оружия всегда должен быть полным за исключением особых случаев, например, выполнение на стрельбище специального упражнения.

— А я и вправду вам скажу, вы все едино не поверите.

— А вы скажите, Степан Онуфриевич, все-таки.

— Игра есть такая, может, слышали когда: «Дуэль с судьбой» называется?

— Да-а... Развлеченьице, щекочущее нервы: несколько гнезд пустых, повертеть барабан, наган к виску и нажать на спуск. Только вам зачем было заниматься этим? Жизнь надоела?

— Я же говорил — не поверите вы мне.

— Все потому же: из-за несчастной любви? Да разве же могла Наиля, у нее, у бедняги, уже волосы седели, отказать в любви вам, молодому, красивому? И вообще, что могло вас привлечь к ней?

Скирдюк скривил губы в подобии усмешки.

— Не для протокола, — произнес он тихо и доверительно наклонился над столом, так, будто находился не на допросе, а в тесной мужской компании. — Татарочек вам встречать не доводилось?

Коробов на миг стушевался.

— Да ничего, — с некоторым оттенком снисходительности продолжал Скирдюк, — вы же помладшей меня будете. Успеется. А повезет, поймете сами.

Человек этот был не прост. Коробов преодолел замешательство и строго произнес:

— Ближе к делу. Где и когда вы познакомились с Гатиуллиной?

Он уже знал из показаний Клавы Суконщиковой, что «видный из себя военный» начал появляться в гостях у Нели незадолго до Нового года, значит, как раз в ту пору, когда Гатиуллину перевели в экспериментальный цех лаборатории.

Но, очевидно, и на этот вопрос ответ был заготовлен загодя.

— Приметил я ее давненько, только никак добраться до нее не мог. Такую женщину не возьмешь с ходу. Такие цену себе знают.

— Когда же все-таки вы добрались до нее, как вы выражаетесь?

Скирдюк пошевелил губами, будто подсчитывая.

— Летом, наверное. Точно — летом. Потому что они на Чирчике как раз купались с девчатами, а я с двуколкой мимо проезжал.

— Ездовой был ваш? Фамилия?



— Алиев. Наверно, он был. С другими я редко езжу.

— Продолжайте.

— Ну так вот. Отправил я двуколку в часть, а сам к ней. Отбил ее от гурта, слово за слово и познакомились.

Понятно было, что несмотря на предупреждение в самом начале допроса, Скирдюк от своей любовной версии не отступит. И Коробов задал последний, сейчас — самый важный вопрос:

— Что же вам мешало соединиться с Наилей, жить с ней, как говорят, в любви и счастье? — Коробов знал из личного дела Скирдюка, что тот женат, но ждал, чтобы арестованный сам сознался в этом.

Скирдюк отвернулся к стене. Ответил он после долгого молчания:

— Я уже женатый. Жинка, правда, пока под оккупацией, но оно ж не навеки. Так? — Впервые уловил Коробов искренние ноты. — Есть жинка, есть и семья. Хлопчик, Миколка, — Скирдюк прикрыл глаза и умолк на минуту, а прежде, чем заговорить снова, вздохнул. — А самое главное, — он исподлобья взглянул на Коробова, — не любила Нелька меня. Это — точно. Ее голубишь бывало, а она мало что в морду тебе не плюет. Вы когда-нибудь переживали такое? — Он неожиданно вскочил. — За что вы мучаете меня? Под трибунал скорей — и точка! — Замотал курчавой головой и закрыл лицо ладонями.

— Без истерик, Скирдюк! Вот, выпейте воды и отправляйтесь в камеру. Подумайте там еще. Может, поймете, что не надо морочить следствие сказками?

Скирдюк заскрипел зубами.

Коробов вызвал конвой.

— Война идет, — напомнил он сурово, когда вошел конвоир, — люди жизни отдают, самое дорогое. Может и вы еще сумеете послужить Родине, если расскажете обо всем чистосердечно? Вот о чем надо думать, Скирдюк.

Фраза — едва ли не обязательная, однако, услышав ее, Скирдюк запнулся у порога. На миг он повернул к Коробову лицо. Напряженная мысль застыла на нем, но тут же Скирдюк шумно вздохнул и вышел.

Утренним рабочим поездом прибыл старший лейтенант Гарамов — оперуполномоченный того же отдела, где служил Коробов. В свойственной ему манере, с тем выражением на молодом благополучном и даже несколько холеном лице, которое называется «Нас ничем не удивишь, и не такое мы видали!», сообщил он Коробову, что Старик (так называли они между собой своего начальника, полковника Демина) сердится, дела незавершенные остались, а Коробов застрял здесь. Коробов возразил, что

далеко не все представляется ему здесь простым и ясным, и познакомил Гарамова с делом. Однако Гарамов прибыл, очевидно, не только с заданием от Демина («Посмотрите там вместе с Коробовым, помаракуйте: может, не представляет это дело интереса для нас?»), но и с готовым, сугубо личным мнением.

— Опять мудришь ты, Лева, — говорил Гарамов, выпячивая нижнюю пухлую, как у девицы, губу и небрежно листая протоколы допросов. — Трагично, конечно: застрелил пьяный девушку ни за что ни про что. Но хочешь, я тебе в два счета закруглю это дело для передачи по принадлежности — в военную прокуратуру?

То было продолжением давних споров. Гарамов был младше Коробова года на два, однако его уже порой ставили в пример другим: «Гарамов зря время не тратит. Парень с хваткой...»

Не относясь прямо к Коробову, звучало такое заключение как упрек. У Коробова в самом деле случались расследования, когда, не щадя себя, с огромным трудом он расшифровывал им же самим составленное уравнение со многими неизвестными, а «икс», как выражался, хмыкая, тот же Гарамов, оказывался «равным нулю». Так было, к примеру, с инвалидом, который вернулся с войны с документами погибшего однополчанина и долго выдавал себя за него. Гарамов предложил передать это дело милиции, поскольку большего оно не заслуживает, Коробов же довел расследование до конца и получил в итоге «жирный пшик»: оказалось, что инвалид попросту таким образом сбежал от алиментов.

Гарамов не преминул напомнить ему об этом провале и сейчас, однако Коробов не отступал.

Они пили чай в чайхане, сидя в изрядном отдалении от общего помоста, за колченогим столиком. Ловко вскрывая перочинным ножом банку американской тушенки, Гарамов внушал по своему обычаю так, будто был старше и по званию, и по возрасту:

— Пойми, наконец, начальству нужен результат. А что это такое? — Гарамов слизал с лезвия жир. — Ты же тратишь порох зря. У тебя сейчас дело — простое, как мычание. Пусть Скирдюк получит то, что полагается по закону, обосновать обвинение должен прокурор, сделать ему это нетрудно, все факты налицо, а у нас, ты знаешь, осталось в Ташкенте кое-что поважней. Поэтому покушай, перестань грустить, потому что девушкам нравиться не будешь, и закругляйся.

Коробов с аппетитом ел, запивая бутерброды жидким, но зато огненно горячим чаем.

— Конечно же, Скирдюк свое получит, — ответил он, жуя. — Он,

кстати, и сам к этому стремится. Но почему он сам так торопится к этому? К примеру, когда мы его везли, он из машины выброситься хотел. Еле-еле удержал я его. А мы, между прочим, по мосту проезжали. Высота там — метров пятнадцать.

— Сбежать хотел, что тут непонятного? — устало возразил Гарамов.

— Чудак ты, Аркадий, ей-богу! Там же воды всего десять сантиметров, а под ней — сплошные камни. Костей бы его не собрали.

— Еще что? — спросил Гарамов, уже не скрывая раздражения.

— А то, что всего лишь для отвода глаз вся эта его версия с пламенной любовью. Хотя бы потому, что человек, который так любит, что на преступление готов, не станет от одной женщины к другой мотаться.

— Почему — нет? — Гарамов подмигнул выпуклым карим глазом. — От несчастной любви лучшее лекарство другая женщина. И вообще, что это тебя, Лева, вдруг на любовные версии потянуло?

— Не меня, как видишь, а Скирдюка. — Коробов допил чай. — Нет, Аркадий, — произнес он решительно, — дело Скирдюка я не оставляю.

— Опять — твоя знаменитая интуиция? — не тая насмешки, спросил Гарамов.

— И она — тоже. — Коробов на миг задумался. — Жизнь, Аркадий, — сказал он, — сама научила меня: и факты, и логика, и интуиция — не последнее дело в нашей с тобой работе. Жизнь и еще один человек, Аврутин. Он теперь, наверное, полковник. Никак не меньше. Будет время, расскажу тебе и о нем, и о том, как он мне помог самого себя найти. А сейчас, я думаю, удастся ли убедить Демина, чтобы он и тебя к этому делу подключил. Как смотришь?

Гарамов выразительно посмотрел на него. Без слов понятно было: «Ты что, друг, рехнулся?».

Однако, когда Коробов позвонил Демину и дал понять, что дело заслуживает внимания, полковник разрешил не только ему самому остаться, но и подключить к работе Гарамова. Добавил все же:

— Чтоб вдвоем — в два раза быстрее, а не наоборот. Понятно?

— За женщин надо браться, за женщин! — Гарамов, желая как можно скорей доказать Коробову несостоятельность его предположений, уже выписывал из дела адреса. — Как раз тот случай, когда надо именно — шерше ля фам.

— Действуй, Аркадий, — легко согласился Коробов. — И я тоже познакомлюсь поближе с одной, с Зиной-диспетчершей, как ее Суконщикова назвала.

Он узнал, что Зина сменилась с дежурства еще утром, и пошел к ее дому (Зина жила с родителями в особнячке под горкой) пешком, чтобы не привлекать внимания соседей. Открыла молодая женщина. Волосы ее были закручены мелкими колечками. Следом за ней показалась в дверях и сама Зина, с томными большими глазами и нежным ртом, девушка из тех, кого считают хорошенькими. Коробов назвалсЯ и был поспешно впущен в дом.

По военным временам жили здесь обеспеченно. На овальном столе, накрытом толстой скатертью с тяжелой бахромой, стояла ваза, в которой горкой были насыпаны конфеты, вокруг валялись цветные обертки и яркая фольга. На блюдах лежали яблоки, груши и гранаты, печенье и ломти торта. Перехватив взгляд Коробова, хозяйка мигом убрала чайную посуду и все, что было на скатерти, и ушла на кухню. Коробов, как он и просил о том, остался вдвоем с Зиной.

Несомненно, она ожидала, что история со Скирдюком, о чем, конечно же, были все наслышаны, как-то коснется и ее, и потому визит человека, назвавшегося военным следователем, не испугал.

— Что, расстреляют теперь Степана? — как-то по-деловому справилась Зина, когда Коробов сообщил ей о цели своего прихода, о которой она и сама догадывалась. Тон был едва ли не безучастный, и все-таки из подведенных глаз Зины не потекли, а брызнули слезы. Она быстро взяла себя в руки и начала ровным голосом, не торопясь, рассказывать о том, как катались они со Скирдюком на мотоцикле («Иногда до самого Акташа доезжали...»), как потом начал Скирдюк захаживать к ним («Но только не подумайте: со мной он ничего такого себе не позволял. И потом — папа у нас кавказец, человек строгий. Всегда только при нем сидели. Ну, пили чай, иногда — чего покрепче. В карты играли. Степан тут самого чёрта обставит»).



Папаша по фамилии Зурабов был экспедитором холодильника на железнодорожной станции, следовательно, его со Скирдюком связывали и деловые отношения. Однако сейчас внимание Коробова было отвлечено иным. Он слушал Зину, а сам все заглядывал в приоткрытую дверь.

Зина прервала себя.

— Это степанов китель там висит, — все так же спокойно сообщила она, — он уже и вещички свои кой-какие к нам перенес. На май

расписываться собирались. Так и вышло бы, когда б не швабра эта, не Нелька задрипанная, — Зина коротко вскрикнула, будто наткнулась на острие, и помотала головой, успокаиваясь. Халат на ее высокой груди распахнулся, но она не замечала этого, хотя Коробов и отводил деликатно глаза.

— Давно началось у него это, с Гатиуллиной?

— Шут его знает! — зло ответила Зина. — Он же, Степан, вообще по натуре дурной. Шатун. То с ремесленницей какой-то крутил, то с медсестрой из военного госпиталя. Я обижалась, конечно, как узнаю про что-то такое — плачу, а папаша успокаивал: все, говорил, так в молодости. Пройдет. Баловство кончается, жена остается.

И тут Коробов спросил намеренно жестко:

— Вы что, не знали, что Скирдюк давно женат? Что у него и ребенок есть, мальчик, Миколкой зовут? Семья у него там, на временно оккупированной территории.

У Зины отвердели губы.

— Не может быть, — произнесла она с трудом, — это вы нарочно...

— Вот — выписка из личного дела. Можете в этом месте прочитать сами. Кроме того, очную ставку устроим вам.

— Мразь!.. — выдохнула Зина. Видно, она была оскорблена сейчас до глубины души. — Записывайте! — она решительно повернулась. — Если вам это нужно.

Нужными, впрочем, оказались всего лишь два обстоятельства, которые Коробов выделил из длинного путаного рассказа Зины Зурабовой. Скирдюк в последнее время не мог избавиться от непонятного для Зины страха. Зина предполагала, что, возможно, в городе объявился кто-то из родственников Наили, может, брат или дядя, и преследует Скирдюка за связь с Наилей. И еще. Хотя она, как утверждала, не могла простить Скирдюка и даже вещи его собиралась выбросить, ловила все же, как каждая оскорбленная в своих чувствах женщина, любое слово о сопернице. Потому она и узнала от телефонистки, что за несколько дней до убийства к ней на коммутатор приходила Наиля. Звонила оттуда какому-то военному начальству. Просила, чтобы ее приняли для важного разговора. «Я все расскажу сама...»

Разумеется, Зина по-своему истолковала это «все»: Наиля, очевидно, захотела, ледащая, чтоб Скирдюка заставили жениться на ней. Нашла средство, негодяйка!

Коробов, однако, рассуждал иначе, тем более, что, сопоставив даты, он убедился: Наиля Гатиуллина, так и не дозвонившись до начальства, ушла

на смену. Ночью она была убита.

Гарамов встретил Коробова радостным восклицанием:

— Все! Передаем дело прокурору, а сами — нах хаузе.

К выводу этому он пришел после допроса девушки из ремесленного училища. Звали ее Тамара, судя по виду ей было гораздо больше указанных в паспорте шестнадцати лет. Очевидно, в детдоме, куда она попала ребенком, возраст ее определили неправильно. В своем объяснении Гарамову Тамара написала: «Степа любил револьвером баловаться...»

— Ты понял? — блестя глазами, радуясь успеху, спросил Гарамов. — Он же психопат типичный. Мания убийства у него. Я уверен, экспертиза подтвердит это на все сто процентов!

Коробов однако не разделял его восторгов.

— Скажи, что тебя, наконец, в таком случае убедить может? — уже в некотором раздражении спросил Гарамов.

— Ну что ж. Допустим заодно, что у Скирдюка еще и мания преследования, — и Коробов открыл то место в показаниях Зины Зурабовой, где было записано: «Так Степан был вроде не трус. Один раз мотоцикл испортился на дороге за городом, к нам двое пьяных пристали. Степан с ними обоими голыми руками справился. А тут, перед Новым годом особенно, стал прямо трусливый какой-то. Про таких говорят: своей тени боится. Чуть смеркается, он уже из дому не выйдет...»

— Конечно, — подхватил Гарамов, — явная шизофрения. Стремление к убийству — от постоянного страха.

— Что же, он и Гатиуллину боялся?

— Больному неважно, кто перед ним: бандит или слабая женщина.

Коробов молчал.

— Скажи, что тебя все-таки мучает? — продолжал наступать Гарамов.

— Ну, а интерес к тому, чем именно занимается в своей лаборатории Наиля? Даже у недалекой, по всему судя, Суконщиковой это вызывает кой-какие подозрения. Ты полагаешь, что и подобное любопытство по отношению к тому, о чем знать посторонним не положено, тоже — от шизофрении?

Теперь умолк Гарамов.

— С женщиной надо же о чем-то трепаться, — хмыкнув, возразил он.

— Видишь ли, Аркадий, отправить сейчас Скирдюка на психиатрическую экспертизу, значит дать основание к тому, чтобы он замкнулся окончательно. В интересах ли это нашего следствия? Тем паче, что я убежден: экспертиза даст ответ отрицательный, а Скирдюк — это

субъект не простой — с заключением не согласится и будет играть невменяемого, с которого, как тебе известно, взятки гладки. — Коробов старался говорить как можно спокойней, но Гарамов при этих словах почему-то смутился.

— Давай-ка посмотрим еще раз, теперь вместе с тобой показания медсестры. Она писала сама.

Медсестра Протопопова Надежда Илларионовна, 1921 года рождения, незамужняя, уроженка города Пскова, прибывшая сюда вместе с эвакогоспиталем, обнаружила прямо-таки графоманский дар. С десятков страниц было исписано круглым размашистым почерком, что вызывало особую ярость Гарамова, поскольку писчей бумаги им выдавали немного. Но главным образом негодовал старший лейтенант потому, что написала Протопопова «целый роман», а для дела, оказывается, — ничего существенного. Ну кому нужны описания ее встреч со Скирдюком! «Было чудесное осеннее утро...» — иронично процитировал Гарамов. Или сердечные излияния: «Когда молодая девушка в незнакомом городе совершенно одинока, о, какое магическое воздействие на нее производит взгляд мужских заинтересованных карих глаз, как вздрагивает тогда сердце, как тает что-то в душе...»

Примирило Гарамова с медсестричкой лишь то, что была она «портативная блондиночка», как он выразился, однако служба есть служба и думать о Протопоповой как о милой женщине Гарамов себе не позволял. Он перелистывал, все еще возмущаясь, ее показания и неожиданно споткнулся на каких-то строках.

— М-да... — произнес он, покачивая головой, — прочитай-ка это, Лева. Кажется, такое обстоятельство работает на твою версию.

Протопопова записала, что не так давно (Коробов тут же определил: случилось это за день до убийства) Скирдюк неожиданно примчался в госпиталь, вызвал Протопопову, — ей пришлось солгать начальнику отделения, будто проездом с фронта прибыл на полчаса ее брат, — и попросил («Умолял меня едва ли не на коленях»), чтобы она дала ему снотворных порошков. Она вынесла на два приема, но он потребовал еще, страшно нервничал, говорил, что не спит уже третьи сутки, «заклинал сжалиться над ним», и Протопопова, поскольку люминал у них на строгом учете, вынуждена была выпросить еще четыре порошка у своей ближайшей подруги.

Скирдюк спрятал порошки в бумажник, рядом с деньгами, и умчался на своем мотоцикле. «Он едва ли не взлетел на нем, и сердце мое оборвалось от страха за него и от какой-то не понятной мне тревоги...»



— Та-ак, — раздумывая вслух, произнес Гарамов, — он хотел инсценировать самоубийство Наили, но почему-то у него это не получилось.

— Почему? — спросил Коробов.

Гарамов усмехнулся.

— Есть такой невеселый анекдот: «От чего твоя теща умерла?» — «Кислотой отравилась». — «Почему же лицо у нее побито?» — «Пить не хотела!» Пить не хотела, — уже серьезно повторил Гарамов. — Ты смекнул, Лева? — он вскинул на Коробова выпуклые глаза.

— Молодец, Аркадий! — воскликнул Коробов и нетерпеливо постучал кулаком по столу, что-то припоминая. — Да! — произнес он, словно прозревая, — там на подоконнике кружка эмалированная стояла, и на полу, я это заметил сразу, лужицы. Я тогда решил, что Наилию напиться хотела, а Скирдюк вырвал у нее кружку. Вода, конечно, расплескалась, и уже только потом он выстрелил. Но все, конечно, могло быть иначе... А ну побыстрому — в барак! Может, что-нибудь еще осталось?

«Следы фенилэтилбарбитуровой кислоты — люминала» — дала заключение экспертиза после исследования белого налета, сохранившегося на стенке кружки. Эмаль во многих местах была отбита, но снаружи еще сохранился потускневший довоенный рисунок: юный пионер трубит в горн.

Коробов велел привести на допрос Скирдюка. Странно задумчивое выражение мелькнуло на лице Гарамова, когда Коробов отдавал это распоряжение, однако, поглощенный мыслями о предстоящем допросе, Коробов не придавал этому значения. Вскоре он понял, что означало неожиданное смущение Гарамова.

Скирдюка остригли наголо и теперь, с остро выступающими костями черепа, небрежно побритый, в гимнастерке без ремня, он мало походил на ловца женских душ, каким представлялся до сих пор едва ли не всем окружающим. Коробов, впрочем, с самого начала сомневался: только ли донжуанские побуждения руководили Скирдюком, когда он заводил связи то с одной женщиной, то с другой? Вот и ремесленница Тамара. Как удалось выяснить Гарамову (как бы скептически ни относился он к предположениям Коробова, однако следствие вел с неизменной профессиональной добросовестностью), девушка эта вместе с несколькими подругами занималась на снайперских курсах при военкомате, а там недавно получили новые оптические прицелы. У Тамары, как у всех

девушек, посещавших кружок, была взята строгая подписка-обязательство о неразглашении военной тайны, и все же Скирдюк, вроде бы посмеиваясь над девчонкой, вздумавшей отправиться на фронт, расспрашивал ее, куда же она все-таки заглядывает, целясь, и что видит: круг с делениями или просто — перекрестье? Ну и так далее. И еще на одно обстоятельство не мог не обратить внимание Коробов: Тамара проходила недавно практику в той же лаборатории, где работала Гатиуллина.

...Итак, старшина, заметно утративший ухажерский лоск, вновь сидел на табурете напротив капитана Коробова. Изменился Скирдюк не только внешне — он и вел себя по-иному. Куда девалась угрюмая сдержанность, граничащая как бы с безразличием к себе, к своей судьбе. Сейчас взгляд Скирдюка был тревожен и рассеян, он то и дело почесывал расслабленными пальцами свою стриженую голову. Беспечный воробей слетел с ближнего тополя и уселся снаружи на подоконнике.

— Вы его только сюда не пускайте, за ради бога, — Скирдюк вяло повел пальцем, странно улыбаясь при этом. — Попадет — не выпустят. Так же?

Коробов начал догадываться. В досаде он даже прищелкнул пальцами. Однако надо было взять себя в руки и провести допрос. Время убегало, в Ташкенте ждали незавершенные дела, представлявшие пока более важными, и Демин, можно было легко догадаться, сердится уже не на шутку. Дернуло же Гарамова усомниться в психической полноценности Скирдюка! Он, несомненно, дал почувствовать это арестованному, и теперь Скирдюк симулирует помешательство.

— Здорово, здорово рассуждаете, Степан Онуфриевич, — заметил как бы небрежно Коробов. Он будто вспомнил о чем-то забавном и решил поделиться. — Тут как раз перед вами одного ненормального приводили. Представляете: в течение месяца вытаскивал линзы из оптических приборов. У него нашли мешочек, полный линз! Хотел, говорит, аппарат сделать, прожигающий вражеские танки лучом.

Скирдюк вскинул на него непонимающий, вполне трезвый взгляд: зачем, мол, капитан рассказывает ему эту историю?

— Так вот, — продолжал Коробов, — он тоже увидел этого воробышку, ну и, как обычно все шизофреники, жалобно так попросил: «Пустите птичку сюда! Я с ней записку в академию отправлю. Принцип моего аппарата изложу. Чтоб в Москве узнали...»

Коробов усмехнулся, однако Скирдюк стал мрачен.

— Не будем валять дурака, Степан Онуфриевич! — строго произнес Коробов. — Артист из вас плохой и ничего вы не добьетесь этим. Любая

психиатрическая экспертиза сразу же покажет, что вы абсолютно здоровы.

Скирдюк поерзал на табурете.

— Какой я есть — другим не стану, — произнес он сердито.

— Ну и порядок! Приступим к допросу. Жалобы, просьбы есть у вас?

— Имеется, — Скирдюк ухмыльнулся. — Хлопните меня скорей и не мучайте вашими разговорами.

Конечно же, он понимал, что по законам военного времени за убийство, совершенное военнослужащим, положено суровое наказание. Он был лишен всяких надежд, и все же именно это и решил использовать Коробов. И потому прежде всего следовало добиться, чтобы Скирдюк отступил от своей легенды — о трагической любви к равнодушной Наиле. И не торопясь, нанизывая на логический стержень собранные за это время факты, Коробов нарисовал сейчас перед угрюмо слушающим его Скирдюком следующую картину.

И в самом деле, Наиля не любила Скирдюка. Уступила мимолетному женскому порыву — от одиночества, от тоски по мужскому вниманию, ласке. Но как раз поэтому вовсе не собиралась она уходить вместе с ним из жизни, подобно госпоже Моро и ее возлюбленному Эмилю. Пожелтевшая книжечка, Наиля возможно перечитала ее не раз, понадобилась Скирдюку всего лишь для инсценировки, шитой белыми нитками. Кстати, сам Скирдюк опроверг свою версию еще на первом допросе, когда кричал, страдая, что Наиля была холодна с ним. К чему же было ей соглашаться на крайний выход? Нет в этом логики, и потому лишний раз факты убеждают, что убийство — именно так! — готовилось тщательно и заранее. Правда, план свой Скирдюк изменил. Сперва он хотел отравить Наилю, усыпить ее большой дозой люминала (Способ среди женщин-самоубийц распространенный. Тут Коробов предъявил заключение химиков). Тогда со Скирдюка, были бы, как говорится, взятки гладки. Почему же отказался Скирдюк от этого намерения своего, которое, осуществись оно, возможно позволило бы ему уйти от прямой ответственности?

Коробов был убежден, что Скирдюк начнет сейчас же отпираться, однако арестованный, все так же глядя в пол, сообщил глухим голосом:

— Порошки у меня Нелька сама просила. Спать ночами не могла — маялась, а утром ей на смену.

— Неправда это, Скирдюк. Следов снотворного в крови убитой не обнаружено, а концентрация люминала в кружке была очень высокая. Значит все шесть порошков сразу в ней и растворили. Человек, который желает просто уснуть и проснуться вовремя, так не поступает. Доза была, несомненно, смертельная, однако пить Гатиуллину не хотела, а вы

настаивали. Она сопротивлялась, вы заставляли ее пить насильно (потому и расплескалась вода, остались на полу лужицы), она начала кричать, и тогда...

Скирдюк вскочил, дико вращая глазами, и растопырил пальцы, явно намереваясь схватить Коробова за горло.

Невольно рука легла на пистолет, но Коробов сдержался.

— Перестаньте ломать комедию, Скирдюк! — прикрикнул он и нажал на кнопку звонка. Вбежал конвоир.

Скирдюк уперся ладонями в стену, бодал ее лбом.

— Застрелите! — хрипел он.

Продолжать допрос было бессмысленно.

— Вот негодяй! — Гарамов бурно переживал рассказ Коробова. — Ты же имел право оружие применить.

— Зачем? — несколько раздраженно возразил Коробов. — Чтоб убрать единственного человека, который может хоть какой-то свет пролить на это дело?

Гарамов скептически пожал плечами.

— Так уж и прольет тебе свет этот тип... И на что проливать?

— Ты, между прочим, тоже помог ему, Аркадий. Дернуло тебя расспрашивать у Скирдюка, не было ли в роду у него ненормальных. Подсказал ему ход. Кривляние у него не получилось, я ему это быстро доказал, тогда он решил изображать буйного.

Они возвращались из штаба училища, откуда звонили полковнику Демину. Демин разрешил продолжать следствие, но потребовал, чтобы Скирдюка направили на психиатрическую экспертизу. Просил, однако, опять, чтоб поторопились; хотел вызвать Коробова на собеседование, но Лев Михайлович доложил, что хочет собрать еще некоторые дополнительные данные, а уж потом доложить Демину дело Скирдюка.

— Я и теперь уверен, что застрелил он эту татарочку только по глупости, — упрямо вел свое Гарамов.

— Ну, а этот, как мы называем, особый интерес Скирдюка к объектам, имеющим военное значение? К лаборатории, к новой оптике? Ты полагаешь до сих пор, что дам своих он выбирал произвольно, руководствуясь только симпатиями? Ну, Зина Зурабова или медсестричка эта — предположим. А Тамара? Что в ней-то привлекательного? Или — в той же Наиле?

— Скажу откровенно, — с трудом сознался Гарамов, — иногда я согласен с тобой. И все-таки чаще делаю вывод, что Скирдюк этот —

обыкновенный мерзавец или псих. А «Невская» лаборатория, прицелы, — все это могут быть и совпадения. Возьми сейчас любого человека, первого встречного, и окажется, что он тоже имеет какое-то отношение к военной тайне. Подумай еще раз, Лева: может Скирдюк и в самом деле в раж вошел? Понимаешь, все перед ним стелются, а одна вдруг в морду плюет, к тому же — далеко не самая красивая...

Но Коробов вел свое:

— Жаль, невозможно проверить, как он там у своей вдовушки в оккупации жил.

— Ничего, недолго осталось. Сводку сегодня слышал?

— Еще бы! Триста тридцать тысяч окружено! Вот они где хлебнут наконец за все наши горести!

Несколько минут они, отвлекшись от Скирдюка, оживленно обсуждали последние новости со Сталинградского фронта.

— Увидишь, Лева, через два месяца всю Украину освободим! — блеснув глазами, заключил Гарамов.

— Может и так, но нам с тобой — распутывать узел здесь. Это сейчас самое главное — узнать, кого или чего он так опасался?

— Думаешь все-таки, он агент и у него связь была?

— Предполагать это мы обязаны. Задача — проверить.

— Как? — Гарамов резко вскинул руки. Жест, означавший недовольство, даже отчаяние. — Наверняка нет у него никакой связи! Нет, понимаешь? Будь здесь резидент, разве позволил бы он Скирдюку поднять вот такую пальбу и демаскировать себя?

— То-то и оно!

— Не понимаю тебя, — искренне признался Гарамов.

— Я и сам пока — в потемках, но полагаю, что поведение Скирдюка связано с его страхом. Этот страх — сильнее смерти. Потому он пытался броситься с моста, потому просится скорей к стенке, потому и меня провоцировал, когда накинулся во время допроса. Он запирается, наверное, все-таки не потому, что изменить чему-то не хочет (мы с тобой наблюдали не раз, как самые матерые агенты раскрываются). Это у него — тоже от боязни.

— Чего? — иронически спросил Гарамов. — Что может быть хуже расстрела?

— Теоретически — многое, но не станем философствовать. Надо попытаться получить дополнительные факты у свидетелей.

Вообще-то Скирдюк при всем своим, как можно было решить с

первого взгляда, любвеобилии и щедрости, был на самом деле то ли нелюдимым, то ли прижимистым, если верить его сослуживцам.

«Выпивать с тобой садится, обязательно колбасу на две пайки разделит: себе получше, тебе — ту, что с хвостиком. А если кто случаем заглянет, Скирдюк сразу все, что на столе, газетой закроет», — сообщил еще на самом первом допросе веснушчатый надутый писарь Лыков.

Повар Климкевич на жадность Скирдюка, по понятным причинам, обращал меньше внимания. Его задевало иное: «Просишь его, бывало: давай, Степан, посидим у тебя компанией. У тебя ж девчат знакомых много, пусть какая и для меня пригласит одну. Не обязательно, чтоб что-то такое сразу, но просто время провести, чтоб веселей... Он — ни за что».

Впрочем, с этими двумя Скирдюк хоть как-то общался, а ездовой Алиев, морщинистый, с длинными запорожскими усами, рассказывал обиженно:

«Например, в Ташкент продукты получать едем, три часа — туда, три часа — обратно, он даже одно слово говорить не хочет. Я что скажу, он сам молчит, как вроде не слышит совсем. Лошадь и то лучше: по-хорошему говоришь — радуется, на тебя смотрит. Скирдюк (Алиев произносил по-своему — Скирдык) — никогда. Я так сразу понимал: паразит!»

Отпуская этих свидетелей, Коробов просил их припомнить и даже записать все, что относилось к Скирдюку, даже самые на их взгляд малозначительные мелочи и подробности. Верный своей военной должности Лыков исписал затейливым писарским почерком три страницы и положил их на стол с некоей важностью, свойственной ему вообще, поскольку он, как легко было догадаться, мнил себя человеком, близким по роду службы к начальству куда более высокому, нежели какой-то капитан, пусть даже — из «Смерша».

Коробов быстро пробежал глазами показания Лыкова, однако всего лишь одно место привлекло его внимание. «Со стороны Скирдюка мною было получено недавно предложение оформить командировочное предписание на имя одного неизвестно лично мне младшего лейтенанта. При этой просьбе Скирдюк сильно волновался, объясняя ее тем, что обязан выручить товарища, с которым подружились в госпитале в Ташкенте. По словам Скирдюка, этот товарищ попал из-за него в нехорошую историю. Он вроде бы дал Скирдюку свою планшетку, где находились деньги и документы с тем, чтобы Скирдюк приобрел для него на базаре вина и закуски, а Скирдюк, находясь в нетрезвом состоянии, забыл эту планшетку, сам не помнит где. Деньги он вернул младшему лейтенанту свои, но тот требует командировочное предписание, поэтому Скирдюк ко мне и

обратился, зная, что у меня по долгу службы хранятся в сейфе различные бланки.

Хотя во время упомянутой беседы, находясь в гостях у Скирдюка, я тоже был сильно выпивши, однако нарушать инструкцию категорически отказался и объяснил Скирдюку соответствующие пункты, он же в ответ разозлился, начал попрекать, я, мол, плохой друг, а потом начал уговаривать, чтоб я забыл про этот разговор. Он вроде бы только хотел взять меня на пушку — проверить настоящий я товарищ или нет.

Вообще он был чудной какой-то всегда, и потому я подумал, что это — правда.

В чем и расписываюсь».

— Фамилия того младшего лейтенанта?

На веснушчатом лице Лыкова впервые мелькнула виноватость. Он пожал плечами:

— Разве ж я предполагал, что оно понадобится? Да и пьяный был очень.

Коробов не стал его упрекать. Он попросил:

— Постарайтесь вспомнить хоть приблизительно: на какую букву начинается или какая — по национальной принадлежности? Вы же представляете хоть примерно — русские оканчиваются на «ов», армянские на «ян», польские — на «ский». Как писарь вы же не раз с этим сталкивались?

— Конечно, — Лыков попытался возвратить себе важность, однако почесал пальцем затылок на лбу. — По-моему, если память не изменяет, какая-то непонятная, скорее всего — азиатская. — Он даже начал размашисто с завитушками выводить на листке какие-то фамилии, но видно было, что только запутывает себя этим. — Знай, что кому-то это нужно будет!.. — опять повторил он, сокрушаясь. — Да я даже записать ее не пожелал. Отказался наотрез — и все.

— Ладно, Лыков, — уступил Коробов, — идите, но постарайтесь все же припомнить.

Писарь вскочил, вытянулся, по-штабному лихо откозырял и повернулся кругом.

— Так, так, — произнес вслух Коробов, когда писарь вышел. Он уже чувствовал, что, как он называл это про себя, «разгадка виляет хвостиком», но вот как ухватиться хотя бы за кончик его! Скирдюку понадобилось командировочное предписание. Зачем — догадаться нетрудно. Стоп... Коробов даже вскочил, боясь упустить мелькнувшую догадку.

У него была привычка, казавшаяся тому же Гарамову, к примеру,

чужаком: по непонятному внутреннему побуждению вдруг заинтересоваться при допросе вещью или обстоятельством, которое, кажется, никакого отношения к делу не имеет и никогда иметь не будет. И у Зурабовых, когда и он, и Зина уж изрядно устали от разговора о Скирдюке, обратил внимание на небольшую фотографию, которая стояла на тумбочке: худощавый парень в мешковатой гимнастерке с кубиками на отложном воротничке напряженно смотрел в объектив.

«Назарка это, — Зина вздохнула, перехватив взгляд Коробова. — В вещах его осталась карточка. Хотел, видно, девчонке какой-то подарить, там даже надпись есть, вот, посмотрите: «Храни копию, если дорог оригинал». Не успел», — Зина на миг пригорюнилась.

«А кем он вам приходится?» — спросил Коробов.

Она грустно поправила:

«Приходился... Брат сводный. Умер в госпитале. В Ташкенте».

Решение было принято без колебаний: получить у прокурора ордер и ехать к Зурабовым.

Открыла мать, уже знакомая Коробову, несколько манерная женщина, по всему видно из сельских, но вот уже многие годы играющая городскую даму в ее представлении. Она и теперь манерно запричитала, мол, в доме у нее ужасный беспорядок, неудобно перед интеллигентным человеком, что подумают о ней; однако, едва Коробов предъявил ордер на обыск, лицо женщины вмиг стало растерянным и жалким. На капитана устремила бегающий обеспокоенный взгляд, ни дать ни взять — перекупщица с черного рынка.

— Да нечего у нас искать, — запричитала она по-бабьи, — ей-богу, все на виду, живем, от людей не прячемся, все, что есть — своими руками, своим горбом...

Никишин и два конвоира стояли у порога. Рядом с ними уже топтались соседи-понятые: пожилой человек в войлочной шапке и женщина, держащая за руку ребенка.

— Прежде всего покажите все вещи, принадлежавшие Скирдюку, вплоть до мелочей, наподобие карандаша или зажигалки, — попросил Коробов.

Хозяйка несомненно опасалась чего-то иного и заметно было, что от сердца у нее немного отлегло. С чрезмерной поспешностью сняла она с вешалки китель, с шумом вытащила из-под шкафа фибровый чемодан и с готовностью распахнула его перед Коробовым. В чемодане оказалось два отреза: отличное офицерское сукно и коверкот. Под ними лежало четыре



хромовых заготовки на сапоги и сложенные стопкой, остро пахнувшие подошвы, тоже — новые. Всему этому в военную пору цены не было. Коробов отметил это про себя, однако волновало его сейчас иное.

— Письма, бумаги? — нетерпеливо спросил Коробов, убедившись, что карманы кителя пусты.

— Ничего такого не было, — она, кажется, говорила искренне, — вот только это и принес он к нам, глаза бы мои его не видали. Сколько же раз наказывала я Зинке: не водись ты с ним, добром не кончится. Так разве ж наши детки слушаются нас!

— А сколько их у вас, детей? — спросил, словно бы кстати, Коробов.

Прозвучало это невинно, будто обычное праздное любопытство, и так же естественно хозяйка ответила:

— Двое, — глаза ее все же повлажнели, — Зинка эта, неприкаянная, да еще Сережка. Тринадцать лет ему. В ремесленное устроили.

Жестом Коробов дал понять Никишину, чтоб он отпустил понятых и вышел бы сам с конвоирами тоже.

— А старший ваш? — спросил Коробов.

И вновь лицо женщины, чрезмерно белое от пудры, стало жалким. Она молчала, и Коробову пришлось повторить свой вопрос настойчивей:

— Про Назара вы почему-то не вспоминаете.

Он предполагал, что Зурабова окажется в затруднении: именно это и произошло, и Коробов утвердился в правильности своей догадки. Однако он был почти уверен, что найдет, если не в чемодане, то в кителе у Скирдюка документы умершего Назара Зурабова. Ради этого и примчался сюда. Пока — напрасно.

— Потому не вспоминаю, — на этот раз с трудом подбирая слова, ответила наконец хозяйка, — что не совсем нашим он был.

Всем видом своим Коробов выразил недоумение.

— Мой Назарка был, мой, — на ее напудренных щеках обозначились мокрые дорожки. — Я за Мишу, за Мамеда то есть, вышла уже с сыном на руках. А Зинка и Сергей — эти конечно наши общие.

— Как звали старшего по отчеству?

Зурабова на какое-то мгновение замялась:

— Вообще-то назвали мы его когда-то Назарлен. Это — еще с первым моим мужем... — она опечалилась чуть и вздохнула. — Ну, а когда Миша усыновил его, честь по чести записали: Назар Мамедович.

— Значит, Назар Мамедович Зурабов, — повторил вслух Коробов. Он преодолел затруднение и задал следующий вопрос: — Как же это он, Назар ваш?.. Уже в тылу...

— Да Назарка же и на фронте-то не был, — отвечала печальным, но ровным голосом женщина, глядя на стену, украшенную большим ковром, на котором висели два портрета: сама она в молодости (Зина очень напоминала теперь ее) и Мамед, остроносый, с тонкими юношескими усиками над губой. — В армию его только, как война уже началась, взяли, а до того не служил даже. Он у нас больше в отца своего родного пошел: всё книжки, пробирки, наука... Ну, а в войну начал мотаться с портфелем большим. В наших краях бывал нечасто. Можно сказать, только один раз и заглянул, бедный. На свою голову...

Коробов дал ей успокоиться.

— Отправили его зимой сюда, к нам, с делами, конечно. Ну и стащил у него кто-то в поезде сапоги, где-то под Оренбургом. Он выскочил из вагона и босой за вором погнался. А зима, холод... Вот он, бедняга, и поморозил ступни. Как сейчас помню, стучится ночью в окошко. Я как увидела его, в глазах потемнело. А он только и просит: «Лечи, мама... Завтра надо подняться». Я его, конечно, в постель сразу, чаем с малиной напоила, как раньше, когда маленьким был. Только где там было ему подняться за одну ночь? Сутки провалялся, бедный, в жару, а назавтра Миша, муж значит, не выдержал: схватил машину — и в госпиталь, в Ташкент. А там у Назара гангрена началась. Он и помер. Врачи говорят, чуть раньше — еще спасли бы.

Коробов выждал долгую паузу и лишь потом спросил:

— Вещи, документы его вам отдали?

Женщина горько усмехнулась:

— Какое там добро у него? Мы и не просили ничего. Комсомольский билет только и вернули.

— Ну, а служебные документы?

Теперь Зурабова с удивлением посмотрела на Коробова.

— Нам-то они зачем? Какое мы отношение имеем?

— Я спрашиваю, может, вы дома что-то нашли?

— Ну что я нашла? Убиралась перед Новым годом, нашла тетрадь его общую. Он туда стихи переписывал, а может, и сам сочинял. Хорошие, душевные такие. А больше — ничего...

— Полина Григорьевна, вы вспомните, пожалуйста, может, говорил когда-нибудь Назар, — Коробов решил спросить прямо, — про служебные бумаги? Ну там, допуск, удостоверение личности? — Дело в том (Коробов по запросу уже получил эти сведения), что в госпитале при нем этих, самых важных документов не оказалось. — А муж ваш, Мамед Гусейнович, значит, не видел тоже?

Она ответила почему-то шепотом:

— Комсомольский билет куда-то пропал. Я его искала недавно. Хотела карточку Назаркину увеличить. Спросила Мишу: «Ты не видал, случайно?» А он как рассердится! Нужен мне, говорит, твой Назарка. Своих забот мало.

— Так. Когда же исчез билет?

— Совсем недавно. Недели за две до Нового года, когда я убиралась, значит, билет еще был.

Коробов поднялся.

— Где ваш муж сейчас?

— Где же ему быть? У себя на холодильнике, на разъезде.

Разъезд находился сразу за городом. Доехать туда можно было минут за двадцать, разумеется, если есть машина.

— Что, домой муж не каждый вечер приезжает?

Полина Григорьевна насупилась.

— Последний раз, считайте, на праздники только и появился. И то — на одну ночь. Продукты, правда, присылает, не жалуемся. А так — дел у него много, говорит. Какие дела — догадаться нетрудно, — и она закончила жестко, будто это не причиняло боли: — Связался он там с одной выдрой, с бухгалтершей. Она сама из Одессы. Я ее видела. Ни рожи, ни кожи. Вся как кошка драная.

— Фамилия?

— А черт ее упомнит, пропади она пропадом! Да там ее, Фирку эту, весь Салар уже знает, а он и позарился на эту дрянь. Дурень старый.

Когда Коробов уже направился к машине, он увидел издали своего связного Зисько. Приземистый красноармеец, быстро перебирая короткими кривоватыми ногами в обмотках, подбежал и доложил, что старший лейтенант Гарамов просит капитана Коробова срочно прийти.

По обычаю Коробов сперва рассказал товарищу о результатах обыска и допроса Полины Григорьевны Зурабовой.

— Надо немедленно допросить самого Зурабова, проследить его связи со Скирдюком, — заключил он. — Вот где по-моему что-то скрывается.

Гарамов, однако, хитровато улыбался.

— Посмотрим, что ты скажешь на это, — и он протянул листки с протоколом допроса повара Климкевича. — Учти только: поворот будет не в ту сторону, куда полагал ты.

Все же поначалу Коробову показалось, что ничего существенно нового в показаниях Климкевича нет. Те же рассказы о совместных вечеринках,

вымученное признание в том, что однажды Скирдюк недодал ему несколько банок консервов и возместил это деньгами, однако Гарамов умело зацепился за этот факт и заставил-таки Климкевича рассказать подробно обо всех махинациях, совершаемых им совместно с начальником столовой старшиной Скирдюком. И тогда всплыло, что в последнее время Скирдюк «совсем уж бессовестно мухлевал с мясом», как выразился Климкевич. От себя вину повар не без оснований отводил. Начальник склада Скирдюк являлся одновременно и начальником столовой. «Что он мне дал, то я и готовлю», — заявил на допросе Климкевич, однако, будучи далеко не новичком в своем деле, не мог он не обратить внимание на то, что Скирдюк пропускал порой вместо говядины, значившейся у него в накладных, например — мороженую козлятину, стоимость которой в два раза ниже. Курсанты, правда, этого не замечали: им после учений что ни подай, умнут в два счета. Ну, а для того, чтоб дежурный офицер внимание не обратил, был тоже изобретен нехитрый ход: делали так, чтоб обед запаздывал («Вода, проклятая, никак не закипала!»), и дежурный облегченно вздыхал, когда наконец Климкевич сообщал, что можно звать курсантов в столовую. Тут уж было не до тщательных проб.

— Климкевичу, конечно, тоже его куш доставался, — Гарамов наклонился над Коробовым и подчеркнул пальцем строку в протоколе: «Скирдюк угрожал мне, что, если доложу о чем начальству, сделает во всем виноватым меня, и я тогда загремлю под трибунал, а так с меня взятки гладки: что со склада получил, то и вари...» — Он и вправду трус, этот повар, иначе так быстро не раскрылся бы, — заключил Гарамов.

— Так, так, — произнес Коробов, выслушав Гарамова, — выходит, и в самом деле греб Скирдюк золото лопатой. Где же оно у него? Ну там пара отрезков, голенища, но это же мелочи, а ведь он воровал постоянно...

«...нарушений в хранении и расходовании продуктов не установлено за исключением некоторых излишков, а именно: говядины третьего сорта — 3,7 килограмма, сала животного — 1,4 килограмма...»

Коробов дважды перечитал акт ревизии, которую уже успел провести Гарамов.

— Да! — Гарамов развел руками. — Я сам удивился: почти все у него в ажуре. Правда, излишки имеются, но есть и этому документальное объяснение.

— Но ведь воровал Скирдюк.

— Тащил, конечно!

— Вот потому-то и наводит на размышления этот ажур. А что начальник продчасти Хрисанфов?

— Давным-давно все Скирдюку передоверил. Теперь кается. Кто, говорит, мог предположить, что Скирдюк таким негодяем окажется? Но и Хрисанфов просит учесть, что с продуктами на складе все в порядке.

— Пьет Хрисанфов?

— Дважды из-за этого в звании задерживали.

— Может, Скирдюк делился с ним?

— Непохоже. В комнате у Хрисанфова кроме койки — ничего. Родных не имеет. Женщины для него не существуют вообще. Может быть, конечно, в матрасе, как рассказывается в баснях, мешочек с бриллиантами зашит, но это уже и впрямь — дело прокуратуры, Лев Михайлович. — Гарамов задумался, выпятив губу. — Понимаешь, — продолжал он не сразу, — я тут сам, пока проверял склад, будь он неладен, на одно обстоятельство набрел. У них курсантские батальоны периодически отсутствуют — уходят в поле на три-четыре недели вместе с пехотным полком. Скирдюк на эти батальоны выбирать продукты с базы права не имел. Курсантов в поле кормят пехотинцы, а затем производятся расчеты. Документальные. Часть фондов танкового училища штаб тыла передает пехотному. И все! Ты понял: только перерасчет! Никто не перевозит со склада на склад какие-то там макароны или сахар — в натуре. Однако сам Хрисанфов признался, что несколько раз Скирдюк возвращал пехотинцам именно продукты.

— В таком случае, у него на собственном складе должна была образоваться недостача?

— Так оно и случилось... Но уже сутки спустя Скирдюк ее восполнил.

— Где же добывал он продукты? Главным образом — мясо и масло?

Коробов тоже задумался.

— Где их берут? — произнес он, покачивая головой, и поставил на стол несколько банок тушенки. Одну — около Гарамова. Остальное — рядом с собой. — Проведем опыт, Аркадий, как Чапаев со своей картошкой — тактический урок. Итак, ты — Скирдюк, начальник склада. Я — база. Бери у меня еще одну банку. Это продукты на те батальоны, которые Скирдюк не имел права получать. Толкай их теперь, как говорят хапуги, налево. Ну, спрячь эту банку хотя бы к себе в портфель! Вот так. Она исчезла бесследно. Теперь — приходит проверка. Хотя бы — тот же Хрисанфов. Как тебе покрыть недостачу?

Включаясь в игру, Гарамов порыскал глазами по столу. Он протянул было руку к банкам, стоящим около Коробова, но тот легонько хлопнул его по пальцам:

— Дудки! Это — база, а фонды свои ты уже выбрал давно.

Гарамов понял:

— Это — если строго по закону. А я по-дружески прошу: выручи, на день-два, пока проверка. А там — верну. И проверяющий — с носом!

— Правильно! — Коробов хлопнул его по плечу.

— Так же можно обманывать всех до бесконечности.

— Нет, Аркадий. Только до того момента, пока не нагрянет одновременно ревизия на склад и на базу. Вот мы и должны установить прежде всего: был ли такой случай?

Гарамов поскуchnел.

— Все это опять не наши заботы, Лева. Ну на кой ляд станем мы влазить в эти бухгалтерские книги, во все эти дебри с расчетами-перерасчетами? Для нас важно, что Скирдюк наверняка воровал. Значит, запутался. Ударился в разгул, ну и докатился до хулиганства, а потом до убийства. Все как на тарелочке.

— Так, да не совсем так, Аркадий. На вот, почитай, — и Коробов подал ему протоколы последних допросов Лыкова и Зурабовой.

— Допустим, я согласен с тобой. Он мог украсть комсомольский билет Назара Зурабова. Но при чем тут все эти дела с продуктами? При чем тут база?

— При том, Аркадий, — произнес, не скрывая торжества Коробов, — что база эта — холодильник на Саларе, где начальником экспедиции никто иной, как Зурабов. Папаша той самой Зинаиды, за которой Скирдюк вдруг начал усиленно ухаживать параллельно с Наилей.

— Допустим, — кивнул Гарамов, — но какое отношение к этому имеет чужой комсомольский билет?

— Видишь ли, Аркадий, — Коробов наклонился ближе, — я полагаю, что там мог быть не только комсомольский билет, но и другие документы. Младший лейтенант Зурабов был военным представителем спецслужбы. У него был допуск на секретное производство. И этот допуск — тоже исчез. Назар даже в бреду вспоминал о нем.

— Да, — согласился наконец Гарамов. — одно убеждает меня, Лева. То, что был этот Назар Зурабов — военпред. — И тут он снова пожал в недоумении плечами. — Но зачем Скирдюку, если он — агент, весь этот шум с ухаживаниями, с убийством Наили? Не вяжется. Нет.

— И все-таки — на Салар, на холодильник!

Однако прежде Коробов еще раз вызвал ездового Алиева. Он понял сразу, что этот пожилой красноармеец, пусть и не разбирается в тонкостях, зато и скрывать ничего не станет. Разумеется, у Скирдюка не было необходимости посвящать ездового в свои махинации. Тем не менее и

Алиев мог знать о чем-то важном.

Вскоре на пороге появился уже знакомый рядовой хозввода. Коробов предложил ему сесть и даже табурет пододвинул, но Алиев продолжал стоять, неумело держа руки по швам.

— Вы часто ездили со Скирдюком за продуктами? — спросил Коробов.

— Конечно! — как бы изумляясь непонятливости капитана, громко ответил Алиев. — Куда еще ехать? База, холодильник... Все время туда-сюда гоняет. Пускай меня не жалко — лошадь жалеть надо, а?

— И часто так бывало, чтоб туда-сюда? — спросил Коробов.

У пожилого солдата, видно, давно накопилось на душе.

— Сто раз, наверно, было! — обиженно произнес он. — Водку пьет, потом как дурак прямо станет. Кричит: «Запрягай, грузи, ехать будем! Быстро!»

— Ну, а что возили — туда?

Алиев теперь уже откровенно усмехнулся над человеком, который, хотя и неизмеримо старше его по званию, но как же все-таки житейски неопытен!

— Туда — порожняком едем, только торба в повозке лежит. Овес. Лошадь его кушает. Все. Больше ничего нет. Обратно — что дадут на складе, на холодильнике; на себе таскаем, в повозку кладем, домой едем.

— Ну, а не было так, — спросил Коробов, с досадой предчувствуя разочарование: предположения, кажется не подтвердились, — чтобы, скажем, мясо или масло обратно с вашего склада на холодильник возили? — Он заметил, с каким изумлением посмотрел на него Алиев, и счел нужным пояснить: — Бывает же, например, что получили лишнее, или скажем, врач из санчасти забраковал мясо. Мало ли что?

— Назад на склад продукты не возят. Оттуда продукты берут, на кухне обед варят, — наставительно и мягко, словно отец — непонятливому подростку, ответил старый солдат.

Коробов только вздохнул. Он понимал, что Алиев чистосердечен в своих немудреных показаниях, и потому добиться от него большего вряд ли удастся.

— Вы свободны, Алиев, — сказал он.

Солдат поднес лодочкой к пилотке заскорузлую ладонь, но вдруг почесал пальцами висок и остановился.

— Я так не ездил, — произнес он шепотом, поднял палец и, приблизившись вплотную к Коробову, сообщил: — Скирдык, может, три раза, может, больше, сам грузил что-то, сам ездил туда. Я только запрягал,

он сразу говорил: «Иди, отдыхай сегодня». Я спрашивал, зачем так? Он говорил: «Не твое дело...» Почему Скирдык так делал, а? — Алиев совсем уж по-свойски подмигнул Коробову.

— А куда же он ездил? — спросил Коробов воспрянув.

И опять солдат ответил неопределенно:

— Черт его знает! Мы, узбеки, говорим: «Охмок уз оёгидан хорийди».

— За дурной головой ногам нет покоя, — перевел Гарамов, который с явным унынием наблюдал за сценой допроса.

— Правильно! — Алиев с признательностью взглянул на старшего лейтенанта.

— Может, он ездил тогда на... — Гарамова осенило, но слово «холодильник» он не успел произнести, Коробов жестом велел ему остановиться.

Алиев не уходил. Он что-то соображал, опершись о дверную раму.

— Наверно, обратно на холодильник ездил, — произнес он, обращаясь к Гарамову, и в подтверждение кивнул головой: — Туда.

— Ну а почему — не в другое место? — спросил Коробов, бросив укоризненный взгляд на Гарамова: дернуло того подсказывать!

— Помню, один раз четверг был, мы на Салар на холодильник ездили, — не спеша начал рассказывать старый солдат, — я бидон пустой на дворе забыл там. Скирдык ругал меня, так ругал, собака! Говорил бидон пропадает. Пятница, вечер как раз был, он сам ехал, куда — не говорил. Утром смотрю: мой бидон на бричке стоит. Понятно теперь, куда Скирдык ездил тогда? — Алиев не скрывал торжества, весьма довольный собственной догадливостью.

— Та-ак... — сейчас и Коробов взглянул на Гарамова.

Тот кивнул: «Ты прав».

— Идите, Алиев. Спасибо вам. Помогли вы следствию.

— Ладно, — сказал солдат, после того как вывел коряво под протоколом две буквы: «А» и «В». — Спросить можно? Бабу он зачем убивал?

— Вот это как раз мы и хотим узнать, товарищ Алиев, — ответил Коробов.

Ездовой снова подмигнул по-свойски:

— Сураб-сураб, Маккани топибди, — сказал он, выходя.

И Гарамов, хмыкнув, перевел:

— Расспрашивая, даже Мекку отыщешь...

За полковником Деминым издавна водилась слава не только умелого,



но и удачливого контрразведчика. На его счету было немало славных дел. Еще в тридцатые годы он отыскал умело скрываемое вражеское гнездо в горном кишлаке. На этом деле обучалось мастерству не одно поколение чекистов. Коробову, разумеется, тоже было известно о той, давней истории, однако, воздавая должное искусству своего нынешнего начальника, даже восхищаясь им, Лев Михайлович не мог отвлечься от того, что Демину в том деле, как, впрочем, почти всегда, на редкость везло. Достаточно хотя бы того, что какой-то связной от ишана, возглавлявшего банду, по ошибке обратился именно к Демину, приняв его по описанию за бывшего поручика Недзвецкого.

Однажды в минуту, когда полковник был настроен благодушно, Коробов высказался по этому поводу. Демин усмехнулся: «Удача — это неожиданный союз недоразумения и труда», — сказал кто-то из древних. Так вот, товарищ капитан, я от души советую вам придавать большее значение второму составному в этой привлекательной формуле...»

Докладывая сейчас полковнику Демину о деле, Коробов и делал главный упор на то, какая работа проделана им и Гарамовым, которого он оставил на месте, поручив ему продолжать расследование и наблюдать за событиями. Слушая, Демин не делал никаких пометок для себя, ничего не переспрашивал. Он обладал выдающейся памятью, считал это необходимым качеством контрразведчика и сердился, если подчиненный заглядывал в записи или в дело, чтобы вспомнить фамилию кого-либо, пусть — третьестепенного свидетеля. «Всех, кто проходит по делу, надо знать, если не как родню свою, то хотя бы как близких соседей», — было одним из непреложных требований, которые предъявлял к контрразведчику Демин. В этом отношении Коробов был в себе уверен. Он рассказывал не только о Наиле или о Скирдюке, но даже о Клавье Суконщиковой так, будто знал всех их с детства.

— Ну и какой же вывод делаешь? — спросил Демин, выслушав Коробова.

— Жаль, конечно, времени, хотя потратили мы его все-таки не совсем зря, но придется передавать дело военной прокуратуре. Схема известная: хищения, потом — безысходность. Понял, что так или иначе — погибать, а тут примешалось личное, и пьянство тоже сыграло свою роль.

— Так, — Демин ненадолго умолк, прикрыв глаза, — а документы умершего военпреда — зачем? Вы нашли их?

— Ну, зачем — понятно, — Коробов ощутил, отвечая, все же некоторую неуверенность, — хотел Скирдюк бежать поначалу. Он и сбежал бы, но что-то, очевидно, еще не было подготовлено, тогда он завернул к

Наиле, выпил там, вошел в раж, а о дальнейшем я уже докладывал. Ну, а то что умерший был военпредом, да еще химиком — пожалуй, случайность. Мог он быть и летчиком, и певцом из военного ансамбля. Скирдюку это, возможно, было безразлично.

— Так полагаешь? — Демин задумался снова. — Вот что, Лев Михайлович, — сказал он, — вспомни, нет ли каких-то, может быть, незначительных на первый взгляд обстоятельств, которые все-таки задевают тебя? Допустим, Гарамов прав, когда утверждает, что снайперский кружок у Тамары, химическая лаборатория у Наили — совпадения. Сейчас и вправду редко кто не имеет отношения к армии, вооружениям, стратегическому сырью. Тут уж каждый хлопкороб — и то на военном производстве. Я не об этом, ты понимаешь. Так что же все-таки еще?

Коробов помялся.

— Кроме документов военпреда, товарищ полковник, разве что еще одна загадка, но это уже — настоящая. Понимаете, я лично обследовал комнатуху Наили и нигде не нашел ни следа от третьего выстрела, ни третьей гильзы. В теле у нее (медэксперт дал заключение) две раны. А между тем все свидетели показывают в один голос, что выстрелов было три.

— Я помню, Лев Михайлович, все, что ты рассказывал мне по этому поводу, — прервал его Демин, — но меня беспокоит еще одно, тоже вроде бы незначительное обстоятельство: дверь вырвали вы, что называется, «с мясом», значит ключ-то должен был в скважине остаться, поскольку Скирдюк заперся изнутри? В крайнем случае, вы должны были обнаружить ключ где-то неподалеку. Но вот же, как ты докладывал сейчас, ключа вы не нашли. О чем это говорит?

— О чем, товарищ полковник? — в некотором недоумении переспросил Коробов.

— Не будем, как всегда, строить домыслы, — Демин поднялся, — работу надо продолжать. Даю вам еще неделю. Это уже — окончательно. Да, — остановил он Коробова, когда тот, четко повернувшись, уже направился к порогу, — обследовали Скирдюка?

— Психически он вполне здоров, как и следовало полагать.

— Ладно. О следующих ваших действиях мы уже договорились.

— Беремся за Мамеда Гусейновича.

— С богом, как говорили предки. Но все-таки имей в виду — третий выстрел...

— И еще одно, товарищ полковник. Вот, валялась эта коробка

неподалеку от барака. Брошена, судя по всему, недавно.

Демин внимательно оглядел «Северную Пальмиру». Он уже был занят чем-то другим, однако сказал:

— Зайди к экспертам. Они тебе через пять минут восстановят номер телефона. Вместе с пропавшим ключом это может открыть многое.

Уже не оставалось сомнений в том, что старшину Скирдюка и экспедитора Зурабова связывали не только предполагаемые родственные узы, но главным образом — совместные махинации с мясом и маслом, самыми дефицитными и дорогими продуктами во время войны. Становилось понятным («более-менее», — все же уточнил для себя Коробов) и то, почему Скирдюк сам ищет смерти. Он понимает, что все равно погиб, и потому не хочет, как говорят преступники, «топить» сообщников. Возможно, того же Зурабова, которому он многим обязан. Зурабов, очевидно, спасал его от разоблачения во время неожиданных ревизий, а к тому же не исключено, что именно Зурабов выкрал для него у жены документы умершего Назара и, наверное, даже постарался обеспечить Скирдюку побег под именем своего приемного сына. Возраст Скирдюка примерно тот же, что у Назара. Они даже внешне похожи и, не умри Назар Зурабов от гангрены, он прихрамывал бы так же, как Скирдюк.

Однако все это снова же — только догадки. Тем паче, что по-прежнему остается неясным главное: почему была убита Наиля Гатиуллина? Уж коль скоро решил Скирдюк бежать под чужим именем, то делать это следовало как можно тише. Единственно разумное предположение — Наиля знала, что ее ненадежный дружок давно обворовывает и без того не очень жирный курсантский котел, а теперь вот решил и вовсе исчезнуть. Она могла разоблачить его, значит, по всем воровским законам, ее следовало убрать.

Но могла ли Наиля знать о преступных делах Скирдюка? Неужто он, в минуту мужского благодушия, а может, и впрямь чтоб пробудить, наконец, ее нежность, похвалялся своими барышами? Выходит, весь этот роман с Наилей — всего лишь спектакль, подготовленный Скирдюком и не очень умело исполненный им с использованием таких наивных деталей, как книжонка о любовной драме, разыгравшейся когда-то между пресыщенными людьми на фешенебельной французской вилле?

Но выстрелы, выстрелы... К чему они? Ведь Скирдюк был намерен поначалу отравить Наилю, усыпить ее огромной дозой люминала, значит — совершить все безо всякого шума. Впрочем, и здесь существует логическое объяснение. Даже ребенка невозможно заставить что-то выпить насильно. Следовательно, исчерпав все средства, Скирдюк дошел до

исступления, тем паче, что был он изрядно пьян, и тогда застрелил Наилю. Уже не владея собой, как говорится в подобных случаях.

И вновь прервал себя Коробов. Есть, есть слабое место и в этих его рассуждениях. Для того, чтобы быть посвященной в махинации, Наиля должна была стать сообщницей Скирдюка, неважно — в какой именно роли. В этом случае, по тем же обычаям преступников, и ей причитался свой куш, пусть небольшой. Однако окружающие, та же Клава Суконщикова хотя бы, неизбежно заметила бы признаки этого неожиданного достатка: ну, какую-то тряпку, шляпку, золотую безделушку... Не говоря уже о продуктах. Ничего подобного и в помине не было.

Итак, главный вопрос остался по-прежнему невыясненным, а Коробов уходил все дальше в глубь преступления, именуемого в юриспруденции хозяйственным.

«Эмка» его между тем подкатила к сложенному из бурых от сырости, выкрошившихся кирпичей зданию, в котором помещалась контора холодильника.

Он ожидал увидеть юлящего дельца, угодливо заискивающего перед следователем, бегающего масляными глазками в надежде найти «подходец» к нему. А может — наглого типа с каменной маской величия на дородном лице, нахала, разыгрывающего оскорбленную добродетель. Труса, который сразу же начинает по-бабьи причитать, сморкаясь в несвежий платок.

Мамед Гусейнович Зурабов не походил ни на одну из распространенных разновидностей темного жулья. Едва Коробов назвал, как широкоплечий сидящий брюнет кинулся навстречу ему, чуть ли не по-братски раскрыв объятия.

— На один час, всего лишь на один час вы меня опередили, дорогой! — заговорил он с чрезмерной горячностью, как только остались они вдвоем; каким-то людям, мужчине и женщине в заношенных комбинезонах, очевидно, грузчикам, сидевшим прямо на полу, прислонясь к стене, Зурабов резко указал на дверь, и они тут же удалились. — Я уже в Ташкент собрался, вас искать, только не знал, как найти. Не будешь же ходить по улицам спрашивать, где находится секретный военный отдел, да? — Он говорил о появлении Коробова, как о нечаянной радости.

— Что же вам помешало, Мамед Гусейнович? — спросил Коробов. Ему неприятен был этот нежданный пыл.

— Дела. Что нам всегда мешает? — с той же театральной приподнятостью Зурабов вздохнул. — Понимаете, замучили ревизии. Три

дня назад — опять. — Он вдруг перешел на шепот: — У меня же все документы в полном ажуре, клянусь! Причем, только в начале месяца была проверка из Ташкента, и тут — на тебе, налетная ревизия. Опять всё поднимают, перевешивают, пересчитывают... Даже — тару. Ну и, конечно, как чего не хватает — сразу в экспедицию. Кто вывозил, что, когда?

— Вы, конечно, не ждали ревизии, Мамед Гусейнович, не предполагаете, чем может быть она вызвана?

Зурабов только руки на груди сложил.

— В экспедиции всё — в идеале, — произнес он скромно и подал Коробову папку.

Коробов однако лишь бегло взглянул на страницы, исписанные химическим карандашом, и отодвинул папку.

— Так зачем же понадобился вам особый отдел?

Зурабов резко вскочил на сильных коротких ногах, плотно прикрыл дверь, предварительно выглянув в коридор, и, обдавая Коробова горячим табачным дыханием, зашептал:

— Я не могу сказать, конечно, что искал именно вас, мы, к сожалению, не были знакомы с вами раньше, но я понимал, клянусь отцовской могилой, понимал, что обязан сообщить про одного человека... Про его сомнительное поведение. А он — военный. Короче говоря, читайте сами. — Зурабов энергичным движением открыл сейф, извлек пакет, достал из него несколько листов и подал Коробову. — Вот, пожалуйста, и обратите, между прочим, внимание, что написано это сразу после Нового года, — и Зурабов умолк, опустив глаза.

На листках, аккуратно вырезанных из конторской книги, было написано после не очень правильного наименования особого отдела: «Считаю крайне важным сообщить о подозрительном поведении военнослужащего Скирдюка С. О., находящегося, насколько мне известно, на воинской службе в училище танкистов в должности начальника столовой и одновременно — склада продтоваров.

Вышеупомянутый Скирдюк С. О. в течение известного периода регулярно посещал мой дом, где я проживаю со своей второй семьей, в которую входит моя вторая жена, носящая после замужества мою фамилию, а именно — Полина Григорьевна Зурабова, украинка по национальности, уроженка города Баку, моя дочь от этого брака Зинаида Мамедовна, 1923 г. р. и сын Сергей Мамедович, 1927 г. р., обучающийся в ремесленном училище.

Находясь в одном из военных лазаретов, вышеупомянутый Скирдюк С. А. познакомился с моей дочерью Зинаидой Зурабовой, которая совместно

со своей матерью приезжала проводить своего сводного брата Назара, рожденного женой от ее первого мужа. Назар Зурабов, носящий также мою фамилию, лечился после обморожения ног. Спустя некоторое время после знакомства, Скирдюк начал появляться в моем доме, имея недвусмысленное намерение, как мы предполагали, жениться на моей дочери Зинаиде, против чего я не возражал до той поры, когда мне стали известны нижеследующие факты, о которых и нахожу своим патриотическим долгом сообщить Вам.

Перед встречей Нового года между Скирдюком и моей дочерью было условлено о совместном проведении этого праздника, ввиду чего Зинаида с моего согласия пригласила компанию в составе шести человек, считая себя и Скирдюка парой. Мы с супругой также находились в доме, однако, чтобы не мешать молодежи, сидели тихонько в спальне. В зале играл патефон, пели разные песни, и вдруг возле двенадцати часов, когда людям под Новый год, кажется, больше всего полагается веселиться, стало вдруг тихо, как на кладбище, а потом мы слышим — все уже уходят, а Зиночка наша не более не менее — плачет. Как сделали бы любые папа и мама на нашем месте, так сделали и мы: пошли узнать, что там еще такое случилось? И вот оказывается, что этот самый Скирдюк ни много ни мало — не явился встречать Новый год с любимой, как он сам говорил, девушкой!

Он появился, конечно, но в доме уже никого из гостей не осталось. Начал извиняться, объяснять, что его заставили дежурить... Ну, военный есть военный. Кто что может сказать? Мы сели с ним за стол и тут он начал пить — я такого еще в своей жизни не видал: буквально один стакан за вторым. Сперва вроде бы опьянел. Ругался и говорил одно и то же: «Не пойду никуда... Нехай себе провалится!» Потом посмотрел на часы и как будто сразу стал трезвый, подскочил и начал одеваться.

Зиночка окончательно на него обиделась и ушла к себе спать, а я все-таки вышел провожать Скирдюка, хотя он мне и говорил, чтоб я сидел на месте. Во-первых, собаки были уже спущены, а во-вторых, я же хорошо видел, что он совсем пьяный и может по дороге упасть в канал или еще что-нибудь такое. Но я все-таки шел сзади незаметно, чтоб он на меня не ругался. И вдруг вижу, что идет он совсем не к казармам, а как раз наоборот — к станции. Хотя было темно, но выпал снег и фигуру я различал хорошо. И вот как раз возле товарного склада к нему навстречу выходит еще один человек. Я, конечно, подойти слишком близко не посмел, все слова, которые они говорили между собой, не слышал, но все-таки понял, что тот человек очень злился на Скирдюка, почему он сегодня от какой-то женщины ушел. Ту женщину называл не по имени, а нецензурным словом

и еще добавлял — татарка.

Я подумал, что это, наверное, какое-то объяснение между мужчинами: не поделили любовницу или еще что-нибудь такое, и тут этот человек говорит, теперь я услышал хорошо: «Выбирай: или — ее, или — тебя... И не одного, ты знаешь, кого я имею в виду».

Скирдюк начал так оправдываться, что мне показалось — он прямо плачет.

Что-то про то, что у него рука не поднимается, а тот обругал его бабой, потом взял и потащил за собой.

Больше я ничего не видел и не слышал, но даже этого, по-моему, вполне достаточно, чтобы вызвать подозрение, о чем и нахожу необходимым довести до сведения соответствующих органов».

Следовала подпись с замысловатой закорючкой на конце.

Коробов сложил листки. Так вот оно что: появился, наконец, *этот*, присутствие которого Коробов смутно угадывал с самого начала!

Однако следовало продолжить допрос Зурабова.

— Что же все-таки вызвало у вас подозрение, Мамед Гусейнович?

Зурабов, теперь уже в самом неподдельном изумлении, уставился на Коробова:

— Как? Он же, может, всего через какой-то час-два застрелил эту татарочку Нельку. Весь город говорит об этом.

— Именно поэтому, Мамед Гусейнович, вы, как единственный человек, который мог пролить свет на преступление, обязаны были сообщить сразу же о том, что вам стало известно. А вы молчали. Почему?

— Я же сказал: писал сразу, но только не знал, кому отдавать надо. Держал заявление здесь у себя, в своем сейфе. Чтоб я так жил.

— Не надо клясться зря, Мамед Гусейнович. Поведение ваше понятно. Вот оправдать вас только нельзя. Вы боялись обнаружить, что связаны со Скирдюком. Ну — знакомством, хотя, предполагаю, ваши связи более серьезные. Заявление лежало у вас в сейфе на всякий случай: авось следствие доберется и до вас. И, как видите, оно добралось. И потому еще один вопрос, Мамед Гусейнович. Только прошу — по правде. Писали вы сами?

Зурабов прижал руки к сердцу в знак предельной искренности.

— Мой же почерк! — произнес он с самым простодушным выражением на лице. — Чей еще?

— Вы прекрасно понимаете, я — не о почерке. Я о том, кто вам диктовал это заявление? Потому что не ваши это фразы, Мамед Гусейнович. «...Я же хорошо видел, что он совсем пьяный и может по

дороге еще упасть в канал или еще что-нибудь такое». Так говорят не на Кавказе, а где-нибудь на юге Украины. Может, в Одессе, а?

Зурабов все еще изображал недоумение.

— Времени у меня в обрез, Мамед Гусейнович. Прошу понять это. Не то я попросил бы вас написать такое же заявление сейчас вот здесь при мне.

— Слушайте, дорогой, по существу все же правильно, так?

— В том-то и дело, что здесь — не вся суть. Вы хотите всеми силами отмежеваться от Скирдюка. Он — убийца, у него какие-то темные связи, а знакомы вы с ним лишь постольку, поскольку он заходил к вашей дочери. И все.

— Конечно, так! — обрадованно поддержал Зурабов. — Вы все правильно поняли, дорогой. Что еще может быть общего у меня с этим мерзавцем?

— Понял я не это, — сухо возразил Коробов, — и не называйте меня, пожалуйста, дорогим. Мы ведем официальный разговор. — Коробов взглянул на часы. Оставалось минут сорок до того часа, когда он обычно докладывал полковнику о ходе следствия. Сегодня было чем обрадовать начальника: усилия потрачены не зря — появился из тьмы **некто**. Тот, кого, если верить Зурабову, так боялся Скирдюк. Может, отбросить прочь эту паутину жульнических махинаций на холодильнике, которая что ни шаг все больше липнет к тебе, и поискать другие пути к истине? Допросить для начала Скирдюка с учетом обстоятельств, которые открыл, пытаюсь, разумеется, спасти свою шкуру, Зурабов. И все же (пусть Гарамов или кто-то другой называет снова это пресловутой коробовской интуицией или еще как-то пренебрежительней!) он чувствовал, что выйти во всеоружии на Скирдюка можно лишь отсюда, из этой унылой конторы, где творились гешефты, к которым, сомнений почти не оставалось, был причастен и старшина Скирдюк. Не исключено, что именно здесь и началось его падение. И Коробов потребовал:

— Позовите-ка сюда ...ее.

Несколько минут спустя перед ним предстала еще относительно молодая и не лишенная привлекательности дама — Эсфирь Марковна Нахманович. Была она коротко по-мужски подстрижена и это придавало ее розовому лицу волевое выражение. Белыми наманикюренными пальцами Эсфирь Марковна сжимала дорогую папиросу. «Северная Пальмира», отметил Коробов.

— Вы не будете возражать? — спросила она спокойным грудным



голосом.

Коробов сам поднес ей огонек.

— Курение вредит цвету лица,— заметил он при этом.

— Надеюсь, вы позвали меня не для того, чтобы читать мораль? — Эсфирь Марковна усмехнулась игриво, но с достоинством.

— Конечно же нет, — Коробов посерьезнел, — вы и сами знаете, что во время войны — не до пустой болтовни. А мораль нынче одна у всех: помогать фронту. Как кто может.

Эсфирь Марковна понимающе кивнула.

— Что же все-таки требуется от меня? — поинтересовалась она сухо.

— Прежде всего — ответить: под вашу диктовку писал свое заявление Зурабов?

Папироса чуть дрогнула в ее пальцах. Эсфирь Марковна молчала, что-то прикидывая в уме.

— Ну, допустим, — ответила она, — но, скажите, что за преступление, если я оказала любезность человеку, не очень грамотному по-русски? Уверяю вас, в доме у него я не бываю и никакого отношения ко всей этой истории с женихом его дочери не имею. Но я видела, что человек хотел сообщить что-то очень важное. Почему же было не помочь ему? А?

— Следовательно, вы оказали ему, как говорится, литературную помощь и на этом ваша миссия окончилась?

— Пусть будет так, если вам это больше подходит.

— И когда же вы продиктовали ему это?

Эсфирь Марковна смяла папиросу в пепельнице и оглянулась мельком на дверь, за которой сидел Зурабов.

— Точно не помню, у меня достаточно забот и без Зурабова с его женихами, но, конечно же, после Нового года.

— Значит уже после того, как вам стало известно об аресте Скирдюка и об убийстве Гатиуллиной?

Эсфирь Марковна в некотором раздражении вскинула лицо:

— Неужели вы полагаете, что я прислушиваюсь ко всяким сплетням? Никогда не знала я эту Гантулину или как вы еще ее там называли, и волнует она меня, как прошлогодний снег. У меня, к сожалению, собственных переживаний больше чем достаточно, — впервые в ее голосе прорвались искренние нотки, — папа и мама остались в Одессе. Каждую ночь вижу их, бедных, во сне. Кто знает, есть они еще на свете или нет?..

Коробов терпеливо выждал паузу.

— Но о Скирдюке, надеюсь, вам кое-что известно?

— Что известно, что? Ровным счетом столько, как обо всех наших

клиентах. Пришел, оформил накладные, пропуск и ушел в экспедицию к Зурабову. Зачем он мне может быть нужен еще?

— Именно это и интересует меня, Эсфирь Марковна. Скажите, вам никогда не приходилось выручать Скирдюка, если ему, скажем, грозила налетная ревизия?

— Чего это ради? Он мне, слава богу, не брат и не сват.

— Но будущий зять Зурабову. Зурабов и мог вас попросить об одолжении. Он-то, надеюсь, человек не чужой вам?

— На что вы намекаете?

— Не надо возмущаться, Эсфирь Марковна. Я не намерен читать вам мораль. На вашу личную жизнь никто не посягает.

— Не хватало еще, чтоб кто-то в моем белье копался! Какое отношение моя личная жизнь имеет к войне, как вы все время это повторяете?

— Гораздо более прямое, чем вы полагаете, — Коробов пристально посмотрел ей в глаза, но она упорно делала вид, будто не понимает его. — Так что же все-таки вы расскажете о Скирдюке?

— Только то, что известен он мне исключительно по нашим деловым отношениям. Согласно выделенных госфондов, ему отпускались регулярно продукты: мясо, жиры, масло растительное, сливочное, маргарин, консервы рыбные, мясные. Отпуск производился, не допуская превышения норм, как квартальных, так и месячных. Но продукты в связи с военным временем поступают на холодильник нерегулярно, поэтому часть фондов могла остаться невыбранной Скирдюком даже в течение длительного времени. Возникало некоторое скопление, и вот его Скирдюк выбирал, когда хотел, по согласованию со своим военным начальством. Я, между прочим, советовала ему, чтоб он выбирал и остаток равномерно, но он просил меня не вмешиваться. В конце концов — это его собственное дело. Я здесь ни при чем.

Эсфирь Марковна говорила, будто отчетный доклад с трибуны читала. Она углубилась в подробности бухгалтерских проводок, которые были для Коробова вовсе уж недоступны; начала рассказывать о том, как поступают в случаях, когда, к примеру, масло заменяется равной по калорийности, но гораздо большей по весу массой маргарина, и о других, еще менее понятных Коробову вещах. Он убедился в том, что, впрочем, не вызывало у него сомнений с самого начала: при желании Нахманович могла так запутать учет и отчетность, что воистину черт ногу сломал бы в этих дебрях.

— Ладно, Эсфирь Марковна, — вынужден был прервать ее Коробов,

— поговорим все-таки о том, что больше интересует меня. Бухгалтерскими книгами вашими займутся те, кто в этом разбирается лучше. Вот пробегите-ка еще раз заявление Зурабова, которое написано под вашу диктовку.

— Зачем перегибать, — она сердито сверкнула глазами, — не под диктовку, а с моей помощью. Это его собственные мысли. Я не отвечаю за них.

— Эсфирь Марковна! Не станете же вы уверять, что не поняли, в чем суть заявления?

Она молчала.

— Так все-таки?..

— Дайте, я посмотрю еще раз. — Она пробежала глазами заявление. — Ну что здесь непонятного? У Скирдюка имеются какие-то темные связи. Может он — бандит или еще кто там, не знаю, не знаю, и Зурабову, конечно, обидно за дочь. Поэтому он и решил сообщить про Скирдюка.

— Милиции? Прокуратуре?

— Это меня не касается. Его дело. Вы меня с ним, я уже просила, не путайте.

— Но ведь именно вы, Эсфирь Марковна, подсказали этот ход Зурабову. Да, да! Это вы посоветовали увести дело подальше от органов, которые занимаются хозяйственными преступлениями. Хищением, например. Пусть Скирдюком, так решили вы, займется наше ведомство. Тогда он исчезнет из поля зрения прокуратуры и вместе с ним уйдут и концы некоторых махинаций.

— Извиняюсь, гражданин уполномоченный, но все, что вы говорите, еще требует больших доказательств.

— Доказательства уже имеются и сейчас.

— Я пока что ничего такого от вас не слышала.

— Что ж, Эсфирь Марковна, — Коробов решил, что момент настал, — я все время надеялся на вашу совесть. Думал, вы осознаете, что даже здесь, в тылу находясь, надо помогать тем, кто должен будет освободить Одессу.

— Политзанятия у нас бывают каждую неделю.

— Ладно. Будем разговаривать по-другому, — он развернул пакет и положил на стол «Северную Пальмиру». Конечно же, она могла бы сейчас отказаться, заявить, что пачек таких миллионы (эта принадлежит вовсе не ей), и потребовалась бы длительная графологическая экспертиза, чтоб опровергнуть возражения Эсфирь Марковны, однако Коробов решил рискнуть. Нахманович, однако, смотрела на папиросы совершенно спокойно. Тогда он перевернул коробок. — Номер телефона написан вашим

карандашом и вашей рукой, — произнес он тоном, не вызывающим сомнений. — Напомнить вам, чей это номер?

Она еще не сдавалась.

— У меня поганая привычка делать записи на папиросных коробках. Мало ли что я на них пишу?

— Но это, Эсфирь Марковна, номер приемной комитета...

— Мы им тоже поставляем продукты.

— Нет. Для этих целей номер телефона записан в вашей книжке, а этот вы записали для Зурабова. Вы посоветовали ему связаться с приемной еще до того, как было совершено убийство Гатиуллиной, то есть, когда Скирдюк был вне подозрений. Но вам нужно было, чтоб подобное подозрение возникло. Вам нужно было «утопить» Скирдюка во что бы то ни стало. И «утопить» так, чтобы самим остаться в стороне. Так вот: вы заставили Зурабова сообщить о Скирдюке в приемную. Основания для этого у него появились еще до убийства Гатиуллиной. Вы знали прекрасно об этом, но молчали, как молчите сейчас. Потому что не патриотизм вами двигает, а шкурничество. Спасти себя самим, а там хоть трава не расти. Не надо возражать, Эсфирь Марковна. Вы знаете: я правду говорю. Но на вашу беду Зурабов все не решался на последний шаг. Он колебался даже после того, как стал свидетелем убийства Гатиуллиной. Единственно, что он сделал — позвонил дежурному по гарнизону. Но не назвался. Хотел по-прежнему оставаться в тени. Его, мол, близко не было. Так он и в заявлении написал. Под вашу диктовку, как вы сами сознались: «Больше я ничего не видел и не слышал». А видел и слышал он все! Что вы скажете теперь?

— То, что номер телефона приемной комитета, даже написанный моей рукой, еще ни о чем таком не свидетельствует.

— А то, что папиросы эти были найдены рядом с местом преступления и уронили их в ту же ночь? О чем говорит это? — Коробов встал. — Может, позвать сюда Зурабова? К тому, что нам уже известно, он не добавит почти ничего. Но, может, очная ставка заставит вас, Эсфирь Марковна, осознать наконец, что укрываете вы не жулика и даже не бандита, — Коробов шагнул к двери, за которой ждал Зурабов. Тот разумеется жадно ловил каждое долетавшее до него слово, но именно это и нужно было сейчас Коробову.

Дверь открывалась внутрь. Коробов резко рванул ее, и Зурабов, который сидел, прислонившись к скважине ухом, едва не упал.

— Не сомневаюсь, Зурабов, вы все слышали.

Он лепетал что-то невразумительное.

— Не надо его сюда, — Нахманович поморщилась. — Что нужно от

меня сейчас? — насупившись, спросила она.

— Расскажите подробно обо всем, что связывало вас и Зурабова со Скирдюком. Как «деловых людей». Так, кажется, называете вы себя в своем кругу? — Коробов прикрыл дверь.

Эсфирь Марковна закурила снова.

— Мне бы хотелось узнать, почему вы так уверены, что мы должны были его вытаскивать? — В глазах Эсфири Марковны на миг мелькнуло откровенно женское любопытство. — Ну, ладно. Я понимаю, спрашиваете здесь вы, отвечаю я. — Она вновь помрачнела. — Ну, слушайте.

И Коробов, с облегчением убеждаясь, что предположения его верны и значит путь, по которому он движется — правилен, узнал о том, что не так давно на складе у Скирдюка вновь образовалась недостача. Скирдюк примчался на холодильник, умолял на коленях, чтоб дали хоть пару говяжьих туш на время, пока гроза минет. Однако Эсфирь Марковна была непреклонна: они сами были предупреждены своими людьми (об этом Коробов догадался), что вот-вот ревизия нагрянет и на холодильник. Кроме того, сама Эсфирь Марковна (впервые в жизни, как сокрушенно призналась она, и в это можно было поверить), по ошибке выписала проходившему через станцию воинскому эшелону на сто килограммов мяса больше, чем было положено по документам. Эшелон укатил на фронт. Надо было покрыть недостачу. Коробов понимал, что в иную пору она бы сделала это без ущерба для собственного кармана, но тут маячил призрак ревизии, к тому же и Зурабов, очевидно, набросился с упреками: «Выпутывайся, как хочешь, если головы своей на плечах нет. Я вместо тебя за решетку садиться не хочу».

И Эсфирь Марковне, как она сама рассказала сейчас, пришлось отправиться на Куйлюк, где в определенные, уже известные ей часы появлялись подпольные «прасолы» — некий «Володя-кореец» и неопределенного происхождения пятидесятилетний курчавый субъект по имени Алик. Денег они не брали («бумажки...»), и Эсфирь Марковна вынуждена была отдать им иностранную золотую монету — дублон («Наверное, лет сто, не меньше, хранилась она в нашем одесском доме...» — заметила она, искренне опечалившись).

И вот Скирдюку, который пал к ее ногам, она тоже сказала, что требуется валюта, иначе мяса не добыть. Сказала для того, чтобы он отвязался. И впрямь: откуда золото у армейского старшины, мелкого жулика?

Он ушел убитый (Эсфирь Марковна сказала, что ей даже стало жаль его), однако всего лишь день-другой спустя появился страшно

возбужденный («Глаза у него блестели как все равно у ненормального. Я даже испугалась») и предъявил десять царских червонцев. Теперь Эсфирь Марковне не оставалось ничего иного, как поехать с ним на Куйлюк. Вечером там появился «прасол» Володя.

— Я познакомила их, сказала о Скирдюке, что ему можно доверять, и уехала себе домой. Как они там между собой договорились, я ничего не знаю.

— Где же он раздобыл золото? — спросил Коробов. — Понятно, он не сказал вам об этом, но, может, хоть какой-то намек? И за что, за какую услугу получил он эти червонцы? Вы-то отлично знаете, что в вашем мире ничто даром не делается.

Эсфирь Марковна только пожала зябко плечами.

— Здесь не топят, — сказала она.

— Ладно, — разрешил Коробов, — пока идите.

Между тем Гарамов, как они и условились заранее, допрашивал вновь ремесленницу Тамару. Коробов застал их за чаем. Обстановка, видимо, не смущала эту девушку, выглядевшую по военной поре весьма упитанной. Тамара с удовольствием отхлебывала чай из граненого стакана, поддерживая его под доньшко пальцами; юное лицо ее сморщилось от желания сдержать смех. Гарамов потешал ее. Он завел длинный анекдот о трусе и утешителе. Коробов слушал, поощряюще улыбаясь, а потом вмешался и уточнил: утешитель все время повторяет трусу, что даже из самого ужасного положения есть всегда два выхода, но вот если уж попадешь к черту в зубы, то тогда, увы, выход — только один...

Тамара недоуменно уставилась на Коробова бесцветными глазами, но тут же сообразила, прыснула чаем и покраснела.

Ей нравилось общество молодых командиров и она словно забыла, кто они и чем занимаются. Когда Коробов все так же непринужденно, будто продолжая разговор, поинтересовался, не видела ли Тамара у Скирдюка золото, ну, может, монетку какую, она ответила с несомненным чувством собственного достоинства, и это обрадовало обоих офицеров:

— За кого вы меня принимаете? Плевать я хотела на все его добро, есть оно там у него или нет! У нас мастер, дядя Муса, говорит: «Главное золото на свете — руки». А у меня, между прочим, уже пятый разряд.

— Не обижайся, Тамара, мы же знаем, ты его любила, — сочувственно заметил Гарамов.

— Да! — глаза у Тамары на миг затуманились. — Мне и теперь его жалко, если хотите знать. Лучше бы он уж сам себя. Как хотел когда-то...

— Вот, вот, — охотно подхватил Гарамов, — ты бы рассказала еще раз об этом капитану.

— Да я же говорила вам, — Тамара нахмурилась. — Ну, увидела, что свет у него поздно горит, потом — тень на занавеске. Рука с наганом. Тень же всегда большой кажется. Страшной...

— А ты где же была в это время, Тамара? — спросил Коробов.

— Я уже рассказывала им, — она снова взглянула на Гарамова, — у себя в общежитии. Окна у нас как раз в тот переулок выходят, где он комнату снимал. Потому мы и познакомились, что соседи. Ну, я не спала тогда как раз. Девчонка одна рассказывала, как в нее лейтенант влюбился. Врала, наверное. Да так громко, длинно... Мне надоело, я к окну подошла и увидела на занавеске: дуло возле лица — вверх-вниз так и ходит. Большое все. Как в кино. Меня так и подкинуло. Побежала к нему, а он и пускать не хотел. Потом открыл все-таки, — она угрюмо умолкла.

Коробов дал ей помолчать.

— Так Скирдюк что, и вправду хотел застрелиться? — спросил он, погодя.

Тамара пожала плечами.

— Кто его поймет? Утром я глаза открыла, вижу, он опять балуется. «Хочешь с судьбой поиграть?» — у меня спрашивает. И целится из нагана. Я чуть не в слезы: «Не надо, Степа!» — а он зубы скалит: «Не бойсь... Тут только всего один патрон в барабане. Остальные я выбросил. Вот, на столе. Можешь пересчитать. Шесть штук», — и в самом деле: прокрутил барабан и дуло к виску приставил, я только подбежать успела, а он уже курок спустил. Вхолостую, слава богу. А потом опять прокрутил — и на меня наводит... — она умолкла.

— А ушла ты, — сказал Коробов, — он же мог и без тебя продолжать это занятие?

— Конечно, мог бы, — согласилась Тамара, — но мне все-таки спокойней немножко стало: патрон-то у него остался один-единственный. И всё! — она неожиданно опустила глаза и надулась, как ребенок, который в разговоре со старшими проболтался о чем-то, но больше слова об этом не скажет, хоть убейте.

— Почему же — только один патрон?

Она молчала.

И тут Гарамов громко хлопнул ладонью по столу.

— Да ты понимаешь, с кем говоришь? Отвечай, когда спрашивают!

Это произвело впечатление. Тамара втянула голову в плечи.

— Ладно, не сердитесь, я скажу, скажу. Теперь — все равно, — она

шмыгнула носом и закончила: — Стащила я эти патроны. Шесть штук. И унесла.

— Где они? — быстро спросил Гарамов, делая знак, чтоб Коробов не вмешивался. Все, мол, идет, как надо. С этой девчонкой можно беседовать либо по-свойски, либо вот так — с нажимом.

И Тамара в самом деле торопливо призналась:

— Нету их теперь, — и тут же спросила убитым голосом. — Мне за это много присудят?

— Ты что: потеряла эти патроны? На помойку их выбросила? — спросил Коробов.

Она покачала головой:

— Не-е, — и добавила, вздохнув, — выстрелила их. По мишени. В тире. Наша группа уже разошлась, а тут как раз милиционеры подошли на стрельбу. Я им показала патроны, говорю, мне из нагана пострелять хочется. А они меня и раньше в тире видели. Знали, что я в снайперском занимаюсь. Посмеялись, но наган дали. Я и бабахнула шесть подряд. Опозорилась, конечно. «Тройка», «единица», остальные — «за молоком».

— Как же ты не поняла: надо было об этом сразу, еще на первом допросе сообщить. — Гарамов места себе не находил от негодования.

— Боялась я, — простодушно призналась Тамара. — У нас инструктор на каждом занятии повторяет: не сдашь гильзу стрелянную — головой ответишь. А тут — патроны все-таки. Не гильзы пустые...

— Ладно, Тамара, иди, — разрешил Коробов.

Она не сразу поверила в избавление.

— Нужна будешь — найдем, — уточнил Гарамов.

— Ага... — Тамара проворно выскочила за дверь.

— Ну что теперь? — спросил Гарамов, явно гордясь тем, что это он навел Коробова на подробность с патронами. Впрочем, сам он еще не до конца понимал, какую службу может это сослужить их следствию.

— Вот что, Аркадий, — говорил между тем Коробов, уже затягивая на шинели ремень, — узнай у начальника боепитания в училище, сколько патронов числилось за Скирдюком и не обращался ли он в последнее время с просьбами, чтоб выдали еще. Если у него, как показала Тамара, оставался всего один патрон, многое становится ясным... Я поехал опять в Набережный. Дверь эту, которую мы выдернули, надеюсь, никто из соседей к себе еще не уволок?

— Мы же ею вход забили и опечатали.

— Ну и лады.



Еще издали разглядел Коробов ладони на две выше дверной ручки круглое отверстие с ровными краями. Он видел эту дыру и прежде, она задела его внимание сразу, но старая тонкая дверь была пробита и во многих других местах, скорее всего — гвоздями: кое-где они еще торчали в своих гнездах, толстые, искривленные, заржавевшие. Это вначале и смутило Коробова. Теперь же он не сомневался в происхождении аккуратной пробоины на уровне груди человека.

Он готов был теперь докладывать начальству о деле старшины Скирдюка и о том, как намерен завершить следствие. Хотел тут же выехать в Ташкент, но полковник Демин прервал телефонный разговор и сообщил, что выезжает на место сам.

Скирдюку уже было сообщено о том, что он признан психически здоровым и значит — вменяемым, то есть, выражаясь языком правовым, несет в полном объеме ответственность за свои поступки. Он впервые увидел полковника Демина. Появление здесь такого высокого начальника само по себе произвело на Скирдюка впечатление. Демин, очевидно, учитывал и это обстоятельство тоже. Верный своим правилам, он не только удостоверился по всей форме, кто сейчас перед ним (хотя конвоир Зисько громко доложил с порога: «Арестованный Скирдюк, по вашему приказанию доставленный»), но и сам назвался допрашиваемому. Сделано это было так непринужденно, что Скирдюк по-светски кивнул остриженной головой и едва ли не пробормотал обычное: «Очень приятно...»

— Нам известно, Скирдюк, что вы воевали, — сказал Демин, после нескольких вопросов о прошлом Скирдюка.

— Какое там воевал... Пару дней в атаку побегал...

— Иногда достаточно и одного часа, чтоб сделать на войне свое дело, — возразил Демин. Очевидно он задел струны, глубоко скрытые в душе у каждого мужчины, который находился в тылу, когда другие сражались.

— Не успел я свое дело сделать, — раздраженно возразил Скирдюк, — а теперь мне — одна дорога, — он потер колено, давая этим понять, что не годится даже в штрафную.

— Воюют по-разному, — продолжал Демин, — вот мы, по-вашему, — он обвел взглядом обоих своих подчиненных, — разве не на войне?

Скирдюк скептически усмехнулся. Вряд ли понимал он, к чему клонит этот красивый, чисто выбритый, одетый хоть на парад полковник, и произнес, словно в пику ему:

— Оно хорошо воевать, когда пули над головой не свищут.

Выражение на его чрезмерно бледном и мятом лице было все то же: терять мне нечего, а потому я могу себе и дерзость позволить.

— Воюет, Скирдюк, тот, кто уничтожает врагов. А они и в тылу имеются. — И безо всякого перехода, поднявшись над Скирдюком, полковник спросил: — Золото где вы достали? Монеты царские?

Впервые Скирдюк растерялся. Он не выдержал взгляда полковника и отвел глаза. Засуетился, начал по-детски сучить ногами. Пытался еще возражать, не было, мол, никаких монет, ничего он о них не знает, кто мог наклепать про него такое, но Гарамов, перехватив молчаливый приказ полковника, прикрикнул на этот раз весьма кстати:

— Отвечайте коротко и ясно, когда старший у вас спрашивает! Думает, без конца возиться мы с ним будем...

— Нашел я те грóши золотые. Нашел. Еще когда на той стороне был. Вдовица прятала. Она богатенькая была. А я и нашел. И забрал. В полу шинели зашил. Никто и не замечал, — Скирдюк уставился в пол.

— Так, так, — произнес размеренно Демин, — а если мы очную ставку вам устроим?

— Пожалуйста, — Скирдюк еще бодрился, — я и при ней скажу: все отдал. А за что, вы уже и сами знаете, — при этом он хмуро взглянул на Коробова.

— А почему, собственно, «при ней»? — снова спросил в упор Демин.

— А при ком же? — теперь Скирдюк каждое слово выговаривал с трудом. Он понял, что попал впросак.

— Вот не только об этом, вы обо всем остальном нам наконец расскажите. Пора, Скирдюк! — жестко продолжал Демин. — Вы запираетесь, но мы же можем узнать и сами, — тут полковник показал глазами на Коробова. — Мы можем выяснить все до конца. Не сомневайтесь.

Скирдюк смотрел по-прежнему на носки своих сапог.

— Покажите-ка ему фотографию, товарищ капитан.

Коробов достал из папки снимок, сделанный с двери. Отверстие над ручкой было четко обведено белым.

— Это стреляли вы, Скирдюк, — Коробов указал пальцем на белый кружок.

— Так? — резко спросил Демин.

— Да разве ж можно про такое дознаться? — Скирдюк в замешательстве потопал нечищенными сапогами.

— Отверстие от пули, выпущенной из нагана, — продолжал Коробов, — края будто бритвой срезаны, ровненькие! А вот, если надо, еще и

показания Тамары Бутузовой. В барабане у вас оставался всего лишь один патрон.

Скирдюк исподлобья бросил на Коробова взгляд, в котором мелькнул едва ли не суеверный страх, и вновь опустил остриженную голову.

— Не треба, — глухо вздохнул он, — ничего не треба, — и вдруг обратился к Демину:

— Только про одно можно мне узнать?

Нервным жестом Гарамов выбросил руки. Коробов положил ладонь на плечо ему:

— Сиди, Аркадий.

— Освободят наши Украину?

— Гораздо скорей, чем полагают иные.

— Что тут говорить. Лично моя песенка спета, — плечи у Скирдюка вздрогнули, — только не хотелось, чтоб до этого Галю, Миколку там порешили. Они ж ни в чем не повинные.

— От вас это зависит сейчас. От того, как скоро узнаем мы все подробности.

— Ладно, — обреченно выдохнул Скирдюк, — слушайте и не перебивайте, а то с головой у меня и в самом деле в последнее время паршиво... Как бы там не забыть чего.

## ТЕНЬ ОБРЕТАЕТ ПЛОТЬ

Даже в военную пору был в Ташкенте весьма знаменит ресторан «Фергана». Ныне разве что старожилы помнят его, тогда же выделялся он в затемненном центре города желтыми волнистыми занавесями на освещенных изнутри окнах, обрывками бойкой музыки, которая доносилась из-за них, цветными лампочками над узким входом со стертymi кирпичными ступенями. Что ни вечер, тянулись сюда те, у кого были лишние — свободные или случайные — деньги и кто желал истратить их в погоне за удовольствием, нередко — мнимым. Тесно заполняли вытянутый в длину зал и завсегдатаи, и случайные посетители, в большинстве — военные: командиры, только что вышедшие из госпиталей или волею судьбы оказавшиеся на короткое время в обстановке, которая после фронта представлялась им едва ли не воскресшими благословенными мирными временами. Они тратили деньги, полученные по лейтенантским аттестатам, или скромные командировочные легко и бездумно, в отличие от угрюмых надутых дельцов, которые днем вершили темные гешефты, а по вечерам являлись в «Фергану» как в клуб, чтобы подбить и разделить барыши, а заодно, так это у них называлось, — «провести как надо время». Захаживали сюда и воришки, праздновавшие удачную кражу, и вполне порядочные люди — какая-нибудь молодая компания, провожавшая товарища на фронт. Однако официантки в изрядно помятых кокошниках и, конечно же, сам завзалом Григорий Григорьевич, — он еще помнил времена, когда назывался метрдотелем, важный, с гладко зачесанными седыми с желтоватым отливом волосами — наметанным глазом сразу же выделяли наиболее интересных, то есть — денежных посетителей. Был таким образом замечен и некий проезжий старшина в отличной командирской форменной одежде. Тридцатки и сотенные тратил он, правда, без того особого форса, который отличал, к примеру, золотозубых заготовителей сухофруктов и обрюзгших до поры виноделов, но зато — не только не скупясь, но и нередко — по-глупому, не считая деньги. «Как и положено настоящему мужчине», — одобрительно замечал Григорий Григорьевич, не любивший тех, кто, чего доброго, мусоля карандашик, подсчитывает на обрывке газеты свой расход, чтоб официантка, не дай бог, его на какой-то червонец не обсчитала.

Вскоре старшину уже называли просто по имени — Степан. Подобная честь оказывалась здесь далеко не каждому даже из тех, кого видели

ежевечерне. Немаловажным тут было и то, что Степан был не только клиентом — время от времени он подкидывал в ресторанный кухню, опять же не торгуясь, то пару килограммов масла, то сотню яиц, а то и баранью тушку. Все же, когда в ресторан нагрянул однажды, где-то уже перед самым закрытием, патруль и начал проверять документы у мужчин, Григорий Григорьевич проворно спрятался за портьерами, скрывавшими служебный выход, и, высунув одну лишь голову, произнес громко и строго, обращаясь к Скирдюку, который ринулся к нему за спасением:

— Сюда, товарищ военный, посторонним входить не разрешается.

Патруль — старший лейтенант и два красноармейца — стоял в прихожей у гардероба. Начальник патруля внимательно изучал командировочные предписания, удостоверения личности, «белые билеты» подслеповатых жуиров и упитанных дельцов, поднося документы поближе к лампочке, которая горела над зеркалом.

Скирдюк в тот вечер, как обычно, когда приходил в ресторан, был в коверкотовом кителе без знаков различия на петлицах. Он походил на уволенного по ранению лейтенанта, тем паче, что еще и прихрамывал ко всему, и не вызывал бы подозрений, не будь этой неожиданной проверки. Сейчас же ему грозили неприятности, и немалые: младшие командиры, включая старшин, обязаны были находиться после вечерней поверки в казармах, да и, выходя в город, старшина, каким был Скирдюк, должен был запастись увольнительной запиской. У Скирдюка же было лишь постоянное удостоверение, предписывавшее ему после получения продуктов возвращаться в часть не позднее двадцати ноль-ноль.

Проверки случались и прежде, однако тогда Скирдюк, не рассчитываясь с официанткой, сразу же проходил через служебный коридор на кухню, а оттуда во двор, темный, заставленный мусорными ящиками и пустыми бочками, и дальше — в неосвещенный переулок. Теперь же, когда Скирдюк с самым непринужденным видом, держа тарелку в руке, направился к кухне, будто бы затем, чтобы попросить пару соленых огурчиков, он наткнулся на ставшего вдруг непреклонным Григория Григорьевича.

— В служебные помещения вход воспрещен, — раздельно повторил метр, глядя на Скирдюка так, будто видел его впервые и вовсе не был посредником в сделках с продуктами. — Категорически!

Скирдюк вернулся в зал, который быстро пустел, однако еще продолжались танцы под одесский оркестр и громкое пение пятидесятилетней полнотелой Софочки:

Что мне делать, как мне быть.  
Кто мне ответит?  
Как мне парня полюбить  
Лучшего на свете?

Он налил себе водки, выпил и налил снова. Григорий Григорьевич выключил на мгновение свет, давая сигнал к закрытию ресторана. Музыка умолкла. Бранчливо переговариваясь, оркестранты начали укладывать в футляры скрипки и трубы. Публика потянулась к выходу. Оставался лишь капитан в летной форме и с набором высоких орденов на груди. Он продолжал спокойно потягивать пиво. Что ему, герою, какой-то тыловой патруль! Скирдюк притворно улыбался, глядя на летчика, как бы намекая на мнимую свою близость с ним, но летчик словно не замечал старшину, однако вот-вот патруль должен был войти в зал. Оставалась единственная зыбкая надежда — пианист Рома, аккуратно причесанный на пробор шатен в роговых очках. Скирдюку казалось, что и Рома обратил внимание на то, в каком затруднении оказался нынче симпатичный старшина. Как каждый завсегдатай Скирдюк знал Рому по имени. Случалось, Скирдюк заказывал музыку, большей частью — украинские песни. Он обращался к Роме, подобно всем, фамильярно, протягивая при этом деньги, которых пианист никогда не принимал в руки. Он лишь кивал аристократически головой, давая понять, что оркестр понял и сейчас исполнит «Ой, дивчина, шумит гай» или «Жигуна», а то и рожденную в Ташкенте фронтовую «Темную ночь», под которую пьяно страдали, подпевая военным, даже мордачи, не нюхавшие пороха.

Появился Рома в оркестре не так давно. Прежде за пианино сидел бледный мальчик с рыжими детскими кудрями. Однажды он пришел наголо стриженный, голова его казалась ржавой: он уходил на фронт, и в честь его оркестр, завершая программу, исполнил марш «Прощание славянки».

Несколько вечеров пианиста замещал пожилой скрипач с брюшком, пока не поднялся как-то из-за столика интеллигентного вида молодой посетитель в роговых очках. Он решительно произнес:

— Вы только мучаете инструмент, маэстро. Позвольте попробовать мне.

Скирдюк оказался свидетелем этой сцены. Вместе со всеми, включая музыкантов, он аплодировал пианисту, когда тот на бис блестяще исполнил сюиту из популярных кинопесенок.

Роман начал с той поры играть в оркестре постоянно, но, перейдя на

эстраду из зала, он в какой-то мере все-таки оставался человеком из публики, тем более, что и сам в перерывах охотно подсаживался то к одному, то к другому столику. Пил, впрочем, мало, ссылаясь на то, что находится на работе, но слушал охотно, живо отзывался на шутки, а сам изредка, но смачно рассказывал анекдоты.

Однажды Григорий Григорьевич громко спросил у буфетчицы:

— Лиза, ты не видела сегодня этого старшину? Ну, того, хромого.

— Не только я видела, вы его можете увидеть тоже, если, конечно, очень хочется, — откликнулась буфетчица и глазами показала на столик, за которым сидел Скирдюк. Он услышал этот разговор и по-свойски подмигнул Григорию Григорьевичу, пусть тот даже и назвал его во всеуслышание хромым.

— Быть мне богатым, хозяин, никак не иначе: не узнали вы меня сегодня, — заметил он. — Только чует мое сердце, чего-то вам надо от меня.

— Хороший человек всегда появляется кстати, — в тон ему ответил Григорий Григорьевич и зашептал ему на ухо, чтоб он подошел на минутку к шеф-повару. Есть небольшая просьба.

Скирдюк слушал, согласно кивая головой, и вот тогда он впервые поймал на себе внимательный взгляд пианиста. Скирдюк не понимал, почему это так вдохновило его, но в тот вечер он сыпал байками — и слышанными от кого-то, и собственного сочинения, а то и вправду «из своей жизни», — с необыкновенным возбуждением, в чем, впрочем, немало была повинна и водка, а он хлебнул уже изрядно.

Соседями по столику оказались двое энергичных лысеющих мужчин и с ними — совсем еще юная, смущающаяся девушка. В ресторанах она, по всему судя, бывала до сих пор нечасто; краска залила ее лицо, на котором даже веснушки не были припудрены, едва один из кавалеров, называли его странным сокращенным именем — Полик, — очевидно, от Аполлинария, — подал ей карточку и предложил выбрать. Скирдюк как-то сразу решил, что ни один из спутников этой девушке не нравится, и просто так, безо всякой цели, захотелось ему произвести впечатление на нее.

Беседа завязалась не сразу. Лишь после нескольких рюмок (девушка, впрочем, заметил Скирдюк, пила только легкое вино, да и то — чуть-чуть пригубив) Полик вежливо осведомился, на каком же участке фронта был ранен бравый старшина? Можно было, конечно, наврать с три короба о боях под Киевом, собственной отваге, но Скирдюк даже несколько насмешливо ответил:

— Под Ташкентом и покалечило меня. Километров двадцать всего

только и будет от этого ресторана. На учениях командир приказал танк покинуть, ну, вроде бы, машина загорелась, а мне отличиться захотелось. Выбросился из верхнего люка и колесом, как акробат — на землю. А нога тут как раз — и хрусть... Прямым макаром меня — в госпиталь.

Скирдюк мельком взглянул все же на девушку. Она, очевидно, оценила, как он и рассчитывал, скромность, с которой говорил он о себе. В темных глазах ее он прочел понимание, но это, наверное, как-то не понравилось Полику.

— М-да, — произнес он, по-новому оглядывая Скирдюка, — счастье твое. У нас на Волховском тебя бы быстро в самострелы записали.

— Это почему же — так?

Теперь Скирдюка задело за живое, но уже из упрямства не захотел он рассказывать (прозвучало бы оправданием), как на самом деле было тогда на учениях, где он сам же исполнял роль командира экипажа. Как вдруг отказали тормоза, и тяжелая машина поползла вниз, к обрыву над галечным берегом, Он приказал двум товарищам-курсантам выпрыгнуть, сумел все же сманеврировать: танк лег на бок у самого края обрыва, но у Скирдюка подвернулась ступня, и кость хрустнула.

— У нас даже обмороженных к самострелам приравнивали, — продолжал между тем Полик, а закончил совсем уж жестко: — И правильно делали! Иди разбери: по неопытности, расхлябанности обморозил ты ноги, или потому что кишка тонка оказалась? Воевать не хочешь — вот и снял на ночь портянку!

Скирдюк так разволновался, что как-то даже не придавал поначалу значения тому, что второй мужчина поднялся, прижал руку к сердцу, прощаясь, и ушел, а на его место сел, прислушиваясь к этой беседе, больше похожей из спор, пианист Рома.

— Я, между прочим, уже повоевал, — произнес Скирдюк сквозь зубы. — Тогда вашего Волховского еще и в помине не было. От самого Бреста отступал — десяток патронов на троих. Немцев руками душили и автоматы отбирали у них.

— Что ты завелся с пол-оборота? — уже примирительно произнес Полик. — Всякие бывают обстоятельства на войне.

— Обстоятельства... — передразнил Скирдюк. — Не дай бог, к таким как ты на правеж попасть. Живо статью найдете.

— Ну, а в самом деле, — мягко, с крайней уважительностью со стороны сугубо штатского к людям повоевавшим, спросил Роман, — как тут определишь: нечаянно человек покалечился или умышленно?

Скирдюк повернулся к нему, не забывая, впрочем, держать в поле



зрения и девушку.

— Со мной — все чисто, не беспокойтесь. Я просто про все рассказывать не желаю. Кому оно интересно? — тут он взглянул опять на девушку, и она слегка кивнула. Мужской спор был ей, очевидно, неприятен. — Бывают и на самом деле случаи такие, что человеку сдохнуть легче, чем доказать, что он не верблюд. От лежал, например, со мной (меня в офицерской палате положили) один младшой — младший лейтенант, значит.

Роман как-то очень вежливо наклонил голову, приготовившись слушать.

— Фамилия у него какая-то нерусская — Зурабов, а на вид даже белявый скорее. Назарка звали. Потом уже я узнал, что он своему папаше неродной, только не в том, конечно, суть. А был он, тот Назар, хоть и молодой, а человек очень ученый. Еще до войны на химика выучился, ну, а когда в армию призвали, продолжал по той же специальности, чем там точно занимался он — не мое, понимаете, дело. Я про то и не спрашивал у него никогда.

— И правильно делал! — строго вставил Полик. Он почему-то нервничал, слушая рассказ Скирдюка. — Ты бы покороче, если можно, — он указал на эстраду, где уже рассаживались музыканты, однако Роман жестом показал, что они, мол, подождут.

— Сейчас, — согласился, не обидевшись, Скирдюк. Он понимал, что внимание популярного пианиста — большая честь для него. Вон даже из-за соседних столиков уже поглядывают на него с завистью и неким недоумением: что нашел Роман в этом простецком старшине? — Так вот: ехал, значит, этот младший лейтенант откуда-то с центра сюда к нам, с каким-то заданием в эвакуированную лабораторию (Полик тут поморщился и заерзал снова, хотя девушка и останавливала его осторожным движением руки: невежливо, мол)... — Да, — продолжал Скирдюк, смекнув что-то, — в общем, весь анекдот начался в поезде. Попался с Назаром в купе какой-то один — выдавал себя за матросика, а на самом деле — жулик. С кем-то он там внизу сидел, в карты резались, как водится, может, и выпивали, а тот, Назар, значит, все лежит себе на полке и читает свою химию. Смеялись, смеялись, снизу звали, чтоб с ними участвовал, он — ни в какую. Аккуратный такой. Носочки (не портянки!) чистенькие, а сапоги хромовые — под подушкой, чтоб не украли. Ну, время пришло — заснул и он, а матросик, значит, и говорит остальным:

— Хотите, шутку над ним подшутим: я у него с-под головы сапоги вытяну, он и не почует.

И на самом же деле вытянул!

— А теперь, — говорит, — я в тамбур с ними выйду, а вы его минут через пять разбудите. Вот смеху будет, когда он туда-сюда в носочках забегает.

Так и сделали. А вор тот, оказывается, все рассчитал как надо: поезд только от станции двинулся и только что семафор прошел. Ход еще тихий. Он и соскочил. Представить не мог, чтоб за ним босый да еще на ходу кинулся. А так и вышло. Вор тикать, Назар — за ним, даром что по снегу. И, хотя и не сразу, а уж в поселке, догнал-таки! Морду ему, конечно, набил, сапоги забрал, в комендатуру жулика сдал, все чин-чинарем. Вот только застудился и ноги опять отморозил. Они у него еще с финской войны, оказывается, были поморожены.

— Ну и какой вывод? — не скрывая неприязни, спросил Полик.

— Погоди, — возразил Скирдюк, явно намереваясь сразить соседа по столику дальнейшим своим рассказом, — главное — впереди будет. Так часом бывает, хлопцы, что человеку помереть легче, чем добиться, чтоб поверили. Приехал тот Назар в Ташкент, а у самого уже горячка. Ему попутчики говорят, мы тебя в госпиталь отправим, а он не захотел. Тут же неподалеку в поселке его родные: мать, сестра, батя, пускай не родной, хата у них здоровая, вообще живут, как в сказке: батя на холодильнике (я с ним, между прочим, тоже дело имею).

Мог бы, конечно, Назар дома пожить, погулять как надо тоже, а вышло — воспаление. Мать его на кровать положила, спасать начала, а посеред ночи его (это он сам мне признавался, койки рядом стояли) как подкинуло прямо: где же документы мои? Он их в планшетке держал. Не снимал ее.

— Заливай! — перебил снова Полик. — Он что же, и за воришкой гнался с планшеткой на боку? А иначе как же? Он же от поезда своего отстал?

— Именно так! — сердито подтвердил Скирдюк.

— Босой на снегу и планшетка болтается сбоку. Картина... — Полик засмеялся и даже залысины свои потерял от удовольствия. Он явно не верил теперь Скирдюку и потому, кажется, успокоился. Роман тоже усмехнулся.

— Комедия в самом деле получается, — сказал он.

— Ну, а если не планшетка, а винтовка, к примеру, — с обидой возразил Скирдюк. — Тогда, выходит, ничего смешного? — он надулся. — Может, он документы за пазуху засунул, я не знаю, но это точно. Когда он домой пришел, документы при нем были. А уже в горячке, значит, он бумаги самые главные, удостоверение там, какой-то пропуск тоже достал и спрятал куда-то. От так... А потом, уже когда его в госпиталь батя привез

почти что бессознательного, он сколько лежал там — не мог вспомнить никак, куда же он их засунул? Поэтому и ходил завсегда, что та хмара. И признался мне раз: «Лучше бы я помер, — говорит. — Все едино за пропажу тех документов — трибунал».

И накаркал-таки. Началась у него скоро гангрена, и помер...

— Жалко, — произнесла единственное слово девушка, а ее спутник спросил, посерьезнев:

— Ну, а документы те все-таки нашлись?

— Откуда ж мне знать про то? — откликнулся мрачно Скирдюк. — Я ж рассказывал, чтоб дать понять тебе: честный человек, а черные думы — я по-другому и понять не желаю! — съели его. Ежели б не опасался, что доказать свою невиновность не сможет, и гангрена та проклятая не началась бы, а?

— Да, печальная повесть, — заключил и Роман. Он поднялся.

— Приходи еще, Рома, — Скирдюк опасался, не оттолкнул ли его этой невеселой историей, но она же вырвалась у него только в пику этому лысому Полику, который его перед девушкой едва ли самострелом не обозвал! — Я смешную расскажу: как женился.

— А вы уже женаты? — спросила девушка. — Такой молодой.

— Не только женатый, — с некоторой гордостью ответил Скирдюк, — у меня и хлопчик имеется. Миколка. Два года, а какой толковый!

— Здесь они?

Скирдюк погрустнел.

— Нет, дорогая моя. Под немцами, в оккупации. Может, слыхали: Володарка? Есть на Украине такое село большое.

— Слушай, друг, — Роман наклонился к Скирдюку и сочувственно заглянул ему в глаза, — не будем себе души травить. У всех сейчас печали. Время такое — война, одним словом. А потому — приглашай девушку на танго.

— Где там мне, с моей хромой ногою! — Скирдюк развел руками, хотя и был доволен, но девушка, едва зазвучало «Утомленное солнце», сама позвала его танцевать.

Ни девушка эта (Скирдюк даже имени ее не знал: не посмел спросить, а они тут же ушли), ни Полик с его приятелем в «Фергане» больше не показывались. Про то, как он женился на своей возлюбленной Гале Супрун, Скирдюк рассказывал уже только одному Роману.

Были в тех рассказах и лирические признания («Как же было мимо пройти: наипервейшая дивчина на сто верст кругом! И разумна, — все книги, наверно, перечитала, даром что всего-навсего счетовод в

заготконторе»), и с юмором преподносимые подробности («Я еще только чоботы свои начищаю, а володарская шпана уже дрючки готовит, чтоб ребра мне пересчитать»).

Судьба возвела немало преград на пути скирдюковской любви. То, что был он из другого села, а Галины соседи в Володарке ревниво оберегали своих девчат от чужаков, можно было преодолеть терпеливостью к побоям и умением дать сдачи обидчикам. Непреходящей болью засела в груди у Скирдюка холодность Гали к нему. Он тронул ее своим упорством, преданностью, но, уступив ему, она полюбить его, как хотелось ему, как он любил ее сам, так и не смогла. И саднила эта рана, едва встречалась на пути женщина, которая сама к Скирдюку льнула, а он словно мстил в ее лице «всем им за Галю», за ее так и непреодоленное равнодушие.

— Бывает, друг, не огорчайся, — утешил его Роман. — Ты же с ней и пожить-то как следует не успел: армия, потом — война. Все кончится, вернешься — заживете как надо. Увидишь. Тем более, что и она сейчас, там, в оккупации, с ребенком, одна, многое поймет... — И вдруг он спросил: — А ты сам, когда на той стороне остался, в Володарку так ни разу и не съездил?

Скирдюк взглянул на пианиста, как на ненормального.

— Ты что, Рома? Представляешь, что такое — оккупация, или нет? Да я ж носа боялся с того хутора показать, пока наши его назад, пусть там на сутки-другие не отбили! Шутка сказать: комендатуры, полицаи, собаки на каждой версте.

— А-а, — протянул понимающе пианист и ушел играть «Огонек».

Какое-то время он словно не замечал зазывных приглашающих взглядов, которые бросал на него Скирдюк, а тот, сам себе удивляясь, ревновал его, уже едва ли не как женщину, к тем, с кем Роман, бывало, смеялся за столиком и даже выпивал, впрочем — лишь пиво. Однако в тот вечер, когда нагрянул неожиданный патруль с проверкой документов и когда Скирдюк, уж впрямь не видя выхода, устремил в отчаянии глаза на пианиста, тот сделал едва заметное движение пальцами: иди, мол, сюда. Скирдюк понял, вскочил и подбежал к эстраде. Сильной рукой Роман ухватил его под локоть и сунул ему футляр от какого-то инструмента.

— Так что вы думаете, — обратился Роман к музыкантам, перекрывая общий гомон, — если я вас поведу на часок в мою холостяцкую берлогу? Я имею чем удивить вас: мамаша одной моей ученицы подарила мне рыбку. Ни много, ни мало — полпуда! Называется — аральский усач.

Все живо откликнулись, посыпались шуточки об усаче, о роминых ученицах из состоятельных семеек, но все это, уже двигаясь к выходу.

Пропустив вперед лишь обширную Софочку, Роман, все так же держа Скирдюка под руку, наклонившись к нему и бормоча нечто вовсе уж непонятное («...Повтор, и с седьмой цифры — сразу на коду!»), провел его мимо обескураженного Григория Григорьевича и через двор, где в полумраке, оказывается, тоже стояли военные. Они разглядели музыкантов и тот, который был, очевидно, старшим, шутливо полюбопытствовал:

— Почему это вы на ходу не играете?

— Играем! — в тон ему откликнулся Роман. — Но только на похоронах. Оставим лучше это нашим врагам, как говорят в Одессе.

С того достопамятного вечера, когда и вправду был артельно съеден под смех и анекдоты превосходный горячего копчения усач, Скирдюк начал бывать в доме у Романа Богомольного, так назывался пианист по фамилии. Роман снимал небольшую комнату в районе Маломирабадской со входом прямо из переулка. В первый же свободный день после достопамятного происшествия Скирдюк приехал к Роману утром по собственному почину: он чувствовал себя обязанным перед человеком, выручившим его в трудную минуту, и привез ему изрядный брусок масла, кулек сахару, консервы и, разумеется, спиртное. Роман усмехнулся, однако не отказался от гостинцев. Он заметил все же:

— Начальство у тебя, как я понимаю, — сплошь лопухи.

— Должность у меня такая, — не без самодовольства откликнулся Скирдюк и поведал кстати байку о приказчике, которого хозяин упрекал в воровстве. — «От глядите, — молвил однажды тот приказчик хозяину в ответ на укоры, — вы дали мне шмат сала и велели отнести в камору. Я отнес. От сала ничуть не убавилось, а пальцы же у меня все-таки жирные стали. Я их и облизал. Кому от того хуже?»

— Хитер, мужик! — Роман похлопал Скирдюка по плечу.

Они позавтракали, а часа три спустя и пообедали вместе. Скирдюк совсем освоился.

— А не скучновато по-мужицки, вдвоем? — спросил он, подмигнув Роману.

Тот понял, конечно, намек, но ответил сухо:

— Женщин у меня не бывает. Не любитель. А тебе советую, если ты без них не можешь, выбирай такую, от которой хоть польза какая-то. Ну, хоть подштанники она тебе выстирает или носки заштопает.

Скирдюк отмахнулся:

— А-а... Все они одним миром мазаны. Окромя Галки, конечно, — его клонило к пьяной откровенности. — Не любила она меня, а я за нее и

теперь душу отдам. Это точно... — он вздохнул, но закончил жестко: — Через то я и в баб этих не верю.

— Ну и дурак, — спокойно возразил Роман. — Забываешь, что женщины — большая половина человечества, особенно теперь, когда война идет. А во-вторых, сказано не зря: где черт не справится, туда он бабу посылает. — Роман поскущел. — Ладно... Я прилягу, посплю перед работой.

Скирдюк ушел, а неделю спустя примчался к Роману на рассвете, разбудив ревом мотоцикла тихую округу. На складе начались неприятности и, подчиняясь не совсем еще понятному побуждению, похожему на то, из-за которого в минуту опасности вырывается у взрослого человека детский вопль «мамочка!», он кинулся к Роману, сам не зная — зачем? За советом, скорее всего. Не утаивая, поведал он Роману обо всех своих делишках и делах.

Начинал он подобно иным, с малого — с кулька муки, фунта мяса, бутылки хлопкового масла, которые удавалось утаить от строевого командира-танкиста, дежурившего по пищеблоку и не шибко разбиравшегося в нормах и раскладках. Случалось, сама обстановка поощряла злоупотребления. Тут уж сказалась слабость старшего лейтенанта Хрисанфова — начальника продовольственной части в училище. Снимая пробу, усевшись за перегородкой за стол, оглядев пахучую снедь: жирные щи, гуляш, а к тому же — кое-что, не входящее в курсантский рацион, к примеру, селедочку под соусом и лучком из личных старшинских запасов, он по-свойски намекал Скирдюку: не найдется ли чего для вдохновения?

И Скирдюк, поворчав для виду, подавал «пляшечку», а день-другой спустя, улучив минуту, жаловался на аптекаршу с главной улицы: за литр спирта — кило масла требует теперь, паразитка! По-другому к ней и не суйся. Где ей взять?

— Не знаю, не знаю, — мрачно откликнулся Хрисанфов и напоминал, будто самому старшине это не было известно: — Из курсантского пайка — ни грамма...

— Значит, выкручивайся теперь, как хочешь? — произносил с обидой уже в пространство Скирдюк, потому что старший лейтенант Хрисанфов удалялся с непроницаемым выражением на морщинистом лице.

К тому же являлся дежурный: настырный и неколебимый капитан или молодой лейтенант, свято преданный уставу, и начинал, тщательно сверяясь с документами, сам перевешивать жиры и крупы, а Скирдюк, холодея, осознавал, как незыблема истина о вьющейся веревочке, потому что знал:

недостача у него на складе растёт.

Пропасть, в которую суждено было ему, как каждому вору, рано или поздно упасть, все углублялась, но остановиться Скирдюк уже не мог: привык к широкой жизни, к сидению в «Фергане»; каждая выпивка требовала опохмела... и все начиналось вновь.

— Много у тебя не хватает сейчас? — спросил Роман, уже повязывая галстук и морщась — можно было подумать, из-за того, что накрахмаленный воротничок слишком туг.

Скирдюк назвал какие-то приблизительные цифры.

— Ну и как же ты намерен выпутываться? — поинтересовался Роман, снова же — весьма равнодушно, так, будто речь шла о ком-то постороннем.

Пытаясь сохранить достоинство, Скирдюк ещё хорохорился:

— Завяжу с гулянками, буду экономить, пускай понемногу...

Пианист хмыкнул и поправил узел на галстуке.

— Ну, а нагрянет ревизия из штаба?

— Тогда одно остаётся, — ответил, помрачнев Скирдюк, — пулю в лоб.

Теперь Роман взглянул на него с уважением.

— А духу хватит?

— Не беспокойся, — сердито бросил ему Скирдюк.

— Что ж, ты заговорил по-мужски. Мне это нравится. Но мужчина должен все-таки поискать прежде выход. Шлепнуть себя никогда не поздно.

— Какой там выход? — Скирдюк не скрывал теперь своего отчаяния.

— Не знаю, — Роман начал раздражаться, — тебе твоя обстановка известна лучше, ты и ищи. Что я могу тут посоветовать? Я же не хозяйственник...

Скирдюк мрачно заключил:

— Ладно. Извиняй, что поднял тебя рано. — Он встал, намереваясь покинуть Романа, и тут пианист ухватил его за рукав и усадил на табурет. Он стал собран, заинтересован и от него повеяло такой энергией, что Скирдюк ощутил надежду, ещё боясь в неё верить.

— С документами ты ничего сделать не можешь? Ну там подчистить, подправить?

— Такое лучше и не пробовать: ревизоры в штабе — каждый что твой бес. Насквозь глядят.

— Ну, а перетырить? Одолжить продукты где-нибудь на время?

Разговор пошел теперь и впрямь деловой. Роман словно переродился, и Скирдюк отвечал ему, почему-то не удивляясь даже: откуда известны

музыканту и жаргон и приемы деляческой практики?

— Ни на одном складе задарма не выручат. За все надо давать: гроши, а то и — долю. Добренького дяди нигде у меня нема.

— Сам виноват, — прервал Роман Скирдюка так, будто только что поймал его на слове, — мог бы у тебя быть не только дядя, но и более близкий родич.

Скирдюк уставился на него недоуменно.

— Ты все эти байки травишь про госпитального соседа. Как там звали его, который от гангрены помер?

— Зурабов... Назар... А что?

— А то, что папаша его, если я тебя правильно понял, на холодильнике начальником экспедиции. Значит, весь вывоз у него в руках!

— Ну? Я же тут ни при чем! К нему же, к этому Мамеду, все едино ни на какой козе не подъедешь, окромя того, чтоб на лапу дать.

— Дуб ты все-таки, Степа, — Роман укоризненно покачал головой, — дочка же у него имеется, сестричка Назаркина?

— Есть, а что? Видал я ее не раз. А при чем тут она?

— Пижон! — Роман процедил это сквозь зубы. — Ты сделай так, чтоб Зурабов тебя своим зяtkом, что ли, будущим считал.





Скирдюк начал догадываться.

— Не-е, так нельзя. Зазря девке голову морочить не годится, и потом: вдруг у нее уже и есть какой хлопец? А проверка же у меня на складе будет вот-вот. Чует мое сердце!

— Ладно. Зинку имей в виду на будущее, а пока — давай дальше думать. — Роман шагал по комнате и вдруг резко остановился. — Выпуска в училище не предвидится?

— Только прошел. Отправили лейтенантиков.

— Так, так... А пополнение?

— На что тебе знать... это? — Скирдюк даже запнулся.

— На то, — жестко ответил Роман, — что в таких случаях можно очень просто документы передернуть. Уехали, скажем, девятнадцатого числа, ты их провел — двадцатым. Значит, лишний день на довольствии находились! Посидишь ночку, перепишешь наряды, подготовишь строевые записки, а ревизия вряд ли до этого докопается сразу.

Скирдюк задумался.

— А ты парень ушлый, — заключил он, — что, в торговле работал?

— При чем здесь моя биография? — Роман поморщился. — Успеем еще до нее добраться.

— Ладно, — согласился Скирдюк, — мне ж потому дивно, что ты как насквозь видишь. — И он зашептал, наклонившись к Роману: — Понимаешь, карантин прибыл вчера, пополнение, значит. И вот не пойму, в чем там дело? Наверное, в штабе кто-то напутал: налицо ровно на полсотни человек меньше получается, чем по строевой записке.

— Ну! — воскликнул теперь обрадованно Роман, — что ж ты тянешь? Тебе сам господь бог на выручку пришел.

— Но откроется же...

— Ерунда. Тогда что-нибудь еще придумаем. Главное, никому не докладывать про эту ошибку и получить продукты на лишних полсотни гавриков.

— Так и некому ж докладывать. Хрисанфов в командировке.

— Тогда давай!

— Спасибо, — искренне произнес уже с порога Скирдюк. — Поговорил с тобой — все едино, что воды напился.

— Двигай.

— Боязно все-таки, Рома. Там же, в штабе, в продотделе, не дурни сидят.

— А ревизия накроет тебя, лучше будет? Главное, не фраерись. И про Зину тоже не забывай.

— Понял! — уже с порога откликнулся Скирдюк. Впрочем, без вдохновения.

Неделю получал он продукты на полсотню «мертвых душ». И недостачу покрыл, и еще в «заначке» оставалось немало. Снова появился он в «Фергане», и Роман, мельком взглянув на него, кивнул и снова забарабанил по клавишам. Скирдюк помахал в воздухе растопыренной

пятерней: порядочек, мол. Он и в самом деле был уверен, что все теперь обошлось. Из училища представили в штаб тыла встречную строевую записку на то количество новобранцев, которые фактически прибыли к ним, штаб, кажется, не заметил разницы в пятьдесят человек, по крайней мере — пока, а там, надеялся с молодым легкомыслием Скирдюк, кривая как-нибудь вывезет.

Однако с очередного совещания в штабе тыла Хрисанфов вернулся мрачный сверх всякой меры. Скирдюк по обыкновению накрыл в кладовой стол, но старший лейтенант закусывать не стал, торопливо вытащил из сейфа папки с документами и удалился в свой закуток на складе, где стоял дощатый столик и табурет. Не подпуская к себе никого, то бормоча что-то про себя, то бранясь, сидел Хрисанфов над бумагами и за счетами дотемна, а Скирдюк во все это время места себе не находил, предчувствуя беду.

С тяжелым сердцем вынужден он был все же уйти к себе на квартиру, где, он знал, ждет его после дежурства Надя Протопопова, светленькая медсестричка из госпиталя. Поддерживал с ней знакомство, как объяснял себе, от скуки. Надя была разговорчива и любила темы отвлеченные и интимные. В тот вечер, дождавшись наконец Степана, рассуждала она о том, как хорошо людям, которые живут-поживают себе в маленьком тихом городке, выращивают курочек и деток. Толкуя об этом, она то и дело льнула к Скирдюку, прижималась к нему как раз тогда, когда он только брал вилку или стакан, и жидкость расплескивалась по клеенке, а огуречный кружок спрыгивал с тарелки на пол.

— Да замолкни ты хоть трохи! — цыкнул на нее Скирдюк и даже по губам хлопнул легонько.

Надя надулась и начала собираться домой.

— Погодь, — через силу примирительно попросил Скирдюк, когда Надя, посапывая от обиды, направилась к двери. Ему страшно было оставаться одному, будто это недалекое, даже в его глазах, существо могло чем-то помочь.

Надя подумала, вздохнула и сняла туфли...

Умиротворенная и усталая, Надя спала, уткнувшись в подушку, а Скирдюка не брали ни сон, ни водка, и от стука в оконное стекло он вскинулся так, будто над ухом раздалась автоматная очередь. Ездовой Алиев, сердитый из-за того, что Хрисанфов среди ночи послал его за старшиной, стоял на улице.

— Иди! Я за тобой следом, — бросил ему через форточку Скирдюк, но пожилой красноармеец возразил, начисто пренебрегая, как это было свойственно ему, субординацией:

— Со мной вместе идти тебе надо, понимаешь или нет? Заснешь, меня опять гонять будут. Думаешь, хорошо мне так, да?

Выпроводить Надю на глазах у подчиненного, который в отцы годился, Скирдюк постеснялся. Он только прихлопнул снаружи дверь поплотней и пошел вперед. А ездовой шагал следом, будто вел старшину под конвоем.

Он и предполагать не мог, что Хрисанфов, в недавнем прошлом — смирный бухгалтер «Заготзерна», обрушит на него такой ураган отборной брани. К тому же говорил сейчас Хрисанфов свистящим шепотом, и это придавало его речи зловещую окраску.

— Ты еще богу молиться, паразит, станешь, чтоб тебя расстреляли. Пули на такую падлу жалко! Потрошить надо таких как ты! Забыл, мразь, что такое каждый грамм продуктов во время войны!

— Да есть же все в наличии у нас, товарищ старший лейтенант, — потерянным голосом старался успокоить начальника Скирдюк, — ну, излишки образовались, это — правда.

— Где они у тебя? — разъяренно спросил Хрисанфов. — Где?

Скирдюк забормотал что-то о перевалочной базе, где ему будто бы остались должны два ящика масла, об откормочном пункте, где нагуливает добавочный вес бычок, которого, впрочем, в любой момент можно отправить на бойню...

— Заткнись! — страшно, не своим голосом закричал старший лейтенант. — Три дня сроку тебе, — заключил он решительно, — не покроешь перерасход, сам застрелюсь, а тебя, подлеца, под трибунал отдам...

Как ни был Скирдюк угнетен неприятностями нынешними и грядущими, жизнь училища шла по заведенному распорядку и, подчинясь ему, он ровно в пять тридцать утра в присутствии дежурного командира отвесил шеф-повару Климкевичу продукты на завтрак и обед. («Чтой-то ты жмешься нынче, Степан, — заметил по-свойски Климкевич, — лишней косточки не кинешь...») Но Скирдюк резко оборвал его: «Сам ты встал у меня как кость поперек горла... Все с меня тянут и тянут, а мне откуда взять?». Затем Скирдюк дал задание курсантскому наряду, съездил сам, выказав редкое рвение, с бричкой в овощехранилище, чтоб указать, из какого именно бурта следует брать картофель сейчас, и лишь часам к девяти, беспокоясь о том, что Надя уйдет, а комнату оставит открытой, примчался к своему жилью.

Дверь была приоткрыта и Скирдюк еще издали заметил, встревожившись, что за столом сидит мужчина в очках. Не сразу узнал он

Романа.

— Я всегда знал, что ты — форменный пижон, — бросил ему, не поворачивая головы, Роман, — уходишь среди ночи и оставляешь в постели кралю. Скажи еще спасибо, что я джентльмен...

У Скирдюка отлегло. Он искренне обрадовался пианисту. И не в состоянии был поразмыслить, почему музыкант вдруг появился здесь в поселке, почему, вопреки своему обыкновению, он небрит и щеки его бледнее, чем всегда? Да и как, в конце концов, разыскал Роман его домишко, не имевший даже номера, а обозначенный как участок 71В, к которому относилось десятка полтора таких же хибарок? Впрочем, Скирдюк рассказывал как-то Роману, что проживает он напротив парикмахерской, где работает тетя Рая, тоже одесситка, значит, землячка Романа Богомольного...

Он прогнал сомнения, кинулся к Роману вновь как к спасителю. Рассказывал о том, что Хрисанфов сам докопался до этой аферы с карантинном, что положение просто отчаянное...

Роман слушал, и глаза его за стеклами очков оставались непроницаемыми, а на капризно изогнутых губах блуждала усмешка. Не зная, как истолковать ее, Скирдюк мрачнел все больше. Он умолк и ждал ответа, не спуская с Романа глаз. Пианист долго не произносил ни слова.

— Так что же нас все-таки губит, мой друг? — спросил он в пространство, будто не понимая, что старшине сейчас не до риторики. — Ты скажешь: водка, женщины, — продолжал он все так же бесстрастно, — и будешь неправ. — Роман резко вскочил и навис над Скирдюком. — Ты — ус моржовый, как говорят в Одессе. Я тебе уже объяснял: женщина нужна нам не для того, чтоб согреть постель, как та, которую я у тебя застукал.

Скирдюк попытался что-то сказать, не в защиту оскорбленной Нади Протопоповой, конечно, но Роман прикрикнул:

— Тихо! Слушай и старайся понять, когда тебе про дело толкуют. С дочкой этого азербайджанца ты познакомился?

— Разузнал только про нее, — глухо ответил Скирдюк. — Незамужняя. И ни с кем теперь не бывает. Был у нее какой-то пацан. В армию его, говорят, забрали, а она даже и в военкомат не пришла, чтоб проводить.

— Ну? Так что ж ты время теряешь?

— Хрисанфов всего три дня дал, — печально сообщил Скирдюк.

— Такому орлу, как ты, трех часов достаточно. Главное, в дом к ним попасть, главное, девке этой понравиться, а там все само собой пойдет как по маслу. — Он вдруг переменил тему: — Пожрать у тебя не найдется? Я с

вечера пощусь.

Лишь когда уселись они друг против друга за колбасой и салом, Скирдюк спросил:

— Как же это ты вдруг надумал, а, Рома? Собрался и — ко мне.

Роман жевал, не отвечая.

— Приехал я утренним поездом, наверное, и в самом деле некстати, — он отрезал себе еще кусок колбасы, — не предупредил; час не для визитов, хозяина дома нет, в кровати женщина...

— Почему же? Я не против... — что-то все настораживало Скирдюка.

— К другу, я думаю, можно в любое время дня и ночи. Тем более, что я прибыл тихонько, не на мотоцикле, как некоторые военные приезжают к приятелям.

Скирдюк почувствовал себя неловко.

— Ладно, Рома, — сказал он, — может, ты выпить желаешь? Мне нельзя. На службу опять надо.

— Что ж, стопарик опрокинуть не грех. Налей мне за здоровье наследницы Зурабова. Как там зовут ее?

— Зина.

— Прелестное имя. Так я у тебя здесь отдохну с дороги часок-другой, а ты — служба службой, но и про Зиночку не забывай. Она как раз тот ключик, который тебе нужен сейчас. — Роман снял ботинки и улегся на постель, которую недавно покинула медсестра Протопопова.

Флирт с Зиной Зурабовой и вправду удалось Скирдюку завязать мгновенно. Он приехал на автобазу как раз перед обеденным перерывом, будто бы за свечой для своего мотоцикла. Вел об этом разговор со знакомым слесарем, а сам все следил глазом за крохотным окошечком диспетчерской, где виднелась каштановая головка с кудельками, свисающими согласно моде, по-прежнему, невзирая на гром орудий, диктовавшей женщинам свои законы. Он заметил конечно, что и пухленькое личико оборачивалось в его сторону с любопытством, очевидно, Зина припоминала, где видела она когда-то этого симпатичного военного.

Скирдюк получил свечу, чрезмерно прочувствованно и долго тряс руку слесарю, сел на мотоцикл и с оглушительным треском выскочил за ворота, но, отъехав всего лишь шагов на сто, остановился и начал копаться в моторе, делая вид, будто там снова что-то не в порядке. Расчет оказался точен: несколько минут спустя из ворот вышла Зина Зурабова, направляясь на обед. С подчеркнуто равнодушным видом, что весьма Скирдюка

обрадовало, просеменила она мимо. Тут же мотор завелся, Скирдюк догнал Зину и, резко притормозив, любезно предложил ей сесть позади него. «Обидно, когда такие ножки по пыли топают... тем более, что мы — давно знакомы». Она, разумеется, сперва отказалась. «Мне всего три шага и совсем в другую сторону, под горку...» Но Скирдюк горячо заверил ее, что и ему надо именно туда. Зина поколебалась и села.

— Держитесь крепче! — крикнул не оборачиваясь Скирдюк и включил третью скорость.

С того памятного полудня все и началось: поездка в горы, где природа справляла яркую тризну по уходящей осени, поигрывание зиниными пальчиками и кудельками в темном зале кинотеатра, где показывали фронтовую хронику и «Новые похождения Швейка». Дня три спустя папаша Зурабов, узнав, что Зина встречается со старшиной из училища, потребовал: «Пусть в дом приходит. Моя дочь по углам с ухажерами не встречается. Понятно?»

«Понятно», — про себя откликнулся весьма довольный Скирдюк.

На следующий вечер он уже сидел за овальным столом, застеленным тяжелой скатертью, и уважительно сдавал карты Полине Григорьевне и Мамеду Гусейновичу. Ставили по маленькой. Скирдюк сперва снимал банк, он в итоге все-таки проиграл.

— Слушай, — говорил довольный Мамед Гусейнович, — я же тебя давно знаю: каждую неделю на холодильнике вижу, почему раньше у меня в доме не бывал, а?

— Упущение, большое мое упущение, Мамед Гусейнович, — отвечал Скирдюк, — сам жалею не знаю как, что не заходил до вас, — он многозначительно поглядывал на Зину, которая подавала ему наманикюренными пальцами чашку с чаем.

— Для мужчины главное — понять свою ошибку, — весело парировал Мамед Гусейнович, перехватив этот взгляд, и, когда назавтра Скирдюк, уже во дворе холодильника, угрюмо поздоровался и прошествовал мимо, уставившись в землю, Мамед Гусейнович сам ухватил его за рукав:

— Степа! Что-то случилось?

— Какая вам разница, — вяло откликнулся Скирдюк.

— Меня можешь не бояться. Говори все!

Скирдюк все же озирался опасливо.

— Пошли! — Зурабов привел его в свой чулан, запер плотно дверь. — Горишь? — спросил он, безошибочно догадываясь чутьем старого дельца, в чем причина скирдюковской печали.

— Ладно... — и Скирдюк поведал об афере с неприбывшей

полусотней новобранцев.

Зурабов слушал, не перебивая. Даже тени осуждения не мелькнуло на его одутловатом лице. Речь шла о делах, вполне, по его разумению, обычных. Все было бы поправимо, будь у Скирдюка «покрышка», то есть — вышестоящий начальник, который с ним в сговоре. Но то была армия, пусть по слабости грешный, но все же неприступный старший лейтенант Хрисанфов, а дальше — военная прокуратура, которую ни разжалобить, ни подкупить.

— Сколько я ему, черту лысому, поллитров перетаскал, — поносил Хрисанфова Скирдюк, — но кому про это докажешь? За склад же отвечаю я!

Начиналась с точки зрения Зурабова лирика.

— Короче! — прервал он нетерпеливо. — Тебе нужна «шпаклевка»?!

Так в кругу жуликов называлась примитивная махинация, когда, обеспечившись, разумеется, круговой порукой, можно было перебрасывать, скажем, ящик масла со склада, где только что прошла проверка, на склад, где была недостача и куда ревизоры лишь намеревались нагряться. Конечно же, сразу после переучета этот ящик с маслом возвращали на место.

— Так, так, — продолжал Зурабов, — ну, допустим, я за одни твои красивые глаза постараюсь, но остальные должны получить «парнос»?

И этот термин, бывший в ходу у жулья, Скирдюку был небезызвестен: каждый, участвующий в сделке, имеет право на свою долю. Бескорыстно в дяляческом мире никто ничего не совершает, тем паче — не рискует даром. Скирдюк заверил, что вернет продукты с процентом. Минула бы только гроза.

— Ладно, — решил Зурабов, — нравишься ты мне, иначе бы я ни за что...

Он пообещал хороший куш своему главному бухгалтеру и ближайшей подруге Эсфирь Марковне, получил необходимые документы на вывоз и ограничил Скирдюка жестким сроком. Вскоре, не скрывая радости, Хрисанфов доложил по начальству, что излишки обнаружены у них на складе и уже учтены, тут же прибыл хозяйственник из штаба, убедился, что все в порядке, и вскоре Скирдюк уже смог постепенно возвращать на холодильник продукты, одолженные ему Зурабовым.

— Спасибо! — говорил он искрение Эсфирь Марковне, прижав ладони к сердцу.

Она, однако, лишь хмыкнула в ответ.

Он понимал, конечно: она ждет от него то, что обещано.



Теперь Скирдюк и впрямь «завязал» с гулянками, но все же, будучи в Ташкенте, заглянул в «Фергану». Романа на эстраде не было, а когда Скирдюк спросил о пианисте, завзлом Григорий Григорьевич раздраженно ответил нечто неопределенное. Не то — «уволился», не то — «перешел, куда, не знаю». Не знали ничего о своем жильце и старики, хозяйева дома на Маломирабадской. «Оставил квартплату и исчез. Мы его даже не видали».

И Скирдюк начал забывать о пианисте. Он по-прежнему приворовывал, однако теперь ничего не тратил, а создавал то, что называлось «заначкой» — припрятывал продукты, чтоб покрыть недостачу. Брешь все же образовалась огромная, и Скирдюк с тоской прикидывал, сколько же месяцев придется таскать, чтобы заделать ее! А вдруг — налетная ревизия? Он холодел при мысли об этом и потому еще настойчивей продолжал ухаживать за Зиной Зурабовой. «Один раз Мамед выручил, в другой раз поможет тоже».

В дождливый вечер примчался он на своем мотоцикле с горки, где жили Зурабовы, домой и увидел около своего дома темную фигуру в плаще с капюшоном.

— Пустишь переночевать? — спросил Роман и шагнул первый в комнату, едва Скирдюк открыл дверь.

— Что это с тобою, Рома? — спросил Скирдюк. — Пропадал ты вроде где-то?

— Потом, — сквозь зубы откликнулся Роман. Видно было, он страшно утомлен. У него даже руки дрожали, когда он торопливо пил чай и закусывал.

Он проспал до следующего вечера и лишь тогда сказал Скирдюку:

— Никаких тайн мадридского двора. Просто — шухер небольшой с валютой. Дернуло меня связаться с фраерами, а один — попух и раскололся. Вот и все. Пронесет, — заключил он беспечно, — ты здесь в любом случае ни при чем... Да! Свои дыры ты залатал?

Скирдюк рассказал о Зурабове.

— Ну вот видишь, — заключил Роман не без удовлетворения, — умных людей слушаться надо.

— А толку? — с горечью возразил Скирдюк. — Рассчитываться же с ними треба, да еще — с лихвой.

— Выход у тебя один, — Роман продолжил горячим шепотом: — Надо стать у них в доме что называется своим человеком. Замуж за тебя эта Зиночка еще не готова?

— Такого не хватало!

— Пижон! Тебе же спастись надо, а там — трава не расти!

— Парнос ихний за мной остался, — вздохнув, признался Скирдюк. — Бухгалтерше Фирке должен, бумажки она не берет, стерва. Как приду, так и напоминает: «С пустыми карманами люди гешефты не делают...»

Роман долго смотрел на него, что-то взвешивая.

— На! — вдруг произнес он, решившись, и вытащил откуда-то из-за галстука булавку с зеленоватым ограненным камнем. — Отдай ей и пусть заткнется.

— Рома! — Скирдюк не находил слов. — Я отдам тебе, отдам... Счастья мне, свободы не видать, ежели брешу! Я ж теперь братом тебя считаю. Как же только найти мне тебя, ежели что?

Пианист остановил его изливания.

— Ладно, — сказал он, — время придет — сочтемся. А найти меня так: оставь на почтамте открытку на имя Кóзел Любoви Львовны. Записывать не надо. Запомнишь и так: не Кoзёл, а Кóзел. Зовут ее — Любовь, слово тебе дорогое, а папашу ее звали Лев. Лев Козел. Смешно? Вот и запомни. Напиши всего два слова: «Старшина соскучился». Я тебя сам и найду. Недостача у тебя и сейчас, наверное, еще немалая?

— Куда ж она денется клятая? — Скирдюк вздохнул.

— Выходит, придется опять перетырить?

— Как там перетыришь? — Скирдюк безнадежно махнул рукой.

— Происходят же, наверное, опять какие-то изменения, как у вас в армии говорят, в личном составе? Ну, как тогда, с карантинном. Или что-то похожее.

Скирдюк посуровел.

— Про такое рассказывать у нас не положено.

Роман усмехнулся:

— Чудик! Я что, точные сведения требую? На кой они мне? Просто другого выхода у тебя нет. — Он улыбнулся: — Помню, мы с сестрой, когда маленькие были, таскали втихую у матери из банки малиновое варенье. Очень нравилось оно нам. Бывало, начнем, по ложечке, по ложечке, смотришь — полбанки нет. А мама варенье берегла для гостей, или если простудится кто. Всего три банки, помню, было, в разных местах стояли. Одна — дальше всех; за шкафом в спальне. Вот мы ее оттуда и достали, полную, и держали на виду, а початую — в спальне прятали. Мать к столу варенье подаст, мы потом еще пару блюдецек скинем, а добавляем из той, что в спальне. Пока она совсем не опустела. Тогда мы поступили совсем мудро: выкинули пустую банку на помойку. Мама потом голову потеряла: ищет, ищет, себя ругает, куда я эту банку поставила? А про нас и не подумала. Смешно?

— Когда про варенье — конечно...

— Но ты учти, — жестко продолжил Роман, — я из первых заработанных денег (в детском саду больную музвоспитательницу подменял) купил на базаре точно такую же банку малинового варенья и в шкаф поставил. — Он усмехнулся снова: — Мама нашла ее, попробовала и ахать начала: «Испортилось немного... Переложила я сахара, наверное».

— Понял я, понял, Ромочка, зачем ты эту байку рассказал...

Скирдюк тяжело задумался. Мысль о новой махинации уже не раз приходила и ему в голову. Курсантские батальоны ушли на учения с пехотой. Маневры были рассчитаны ненадолго, но какой-то требовательный инспектор из высокого штаба остался недоволен взаимодействиями стрелков с танкистами и приказал продлить полевые учения еще на неделю. По строевой же записке, представленной в штаб округа, батальоны эти значились возвратившимися в расположение училища. Следовательно, уже с минувшей субботы полагалось получать на них продовольствие.

Скирдюк видел, что возникла возможность на время покрыть недостачу, но не решался на это. Он до сих пор вздрагивал, вспоминая дело с карантинном. Роман словно подталкивал его в спину, как новичка-парашютиста, который сам не решался кинуться в бездну. «От черт с рогами! — думал Скирдюк и с неприязнью, и с восхищением. — Прямотаки наскрозь глядит». Вслух же он произнес обреченно:

— Жизнь моя, Ромочка, про что бы ты тут ни балакал, уже пропащая...

Роман молчал. На бледном, поросшем рыжеватой щетиной лице его появилась обида: я, мол, к тебе с полной откровенностью, вещичку подарил — цены ей нет, а ты мне не доверяешь.

— Подворачивается тут, правда, один случай, — начал будто бы нехотя Скирдюк и слово за слово рассказал, как ему представлялось, весьма туманно, о застрявших на полевых учениях батальонах.

— Так что ж ты чикаешься! — азартно воскликнул, тут же сообразив что к чему, Роман. — Действуй! Хуже все равно не будет.

— А откроется снова? Ну, Мамед, может, теперь и задарма выручит, так Фирка же не захочет. Нет. Это — такая зараза...

— Меня тогда найдешь, — с некоторым раздражением заключил Роман. — Давай спать!

Однако Скирдюк уснуть не мог. Он ворочался с боку на бок, постанывал, кашлял.

«Фирке — ювелирные цацки, а этот не иначе — душу потребует...»

Он получил продукты на отсутствующие пока батальоны, но отрады

это не принесло. Полевые учения должны были вот-вот окончиться, к тому же и Хрисанфов опять что-то учуял; вернувшись из командировки, он только взглянул на стол, накрытый для него Скирдюком (посредине, разумеется, красовалась зеленоватая бутылка), крикнул и ушел в командирский зал, обедать вместе со всеми.

Скирдюк кинулся к Зурабову, хотя давно уже понял, что Мамед Гусейнович отнюдь не принимает его заботы так близко к сердцу, как предсказывал Роман. Зина, она и впрямь увлеклась чернявым старшиной не на шутку, тоже просила отца: «Я не знаю, конечно, что там у Степы такое случилось, но он переживает все время. Помогите ему, папочка. Ты же все можешь...» Зурабов сперва отвечал ей неопределенно: «Посмотрим», потом, рассердившись, прикрикнул: «Не суйся в мужские дела!»

Сейчас Скирдюк все-таки снова кинулся к Зине. Уткнувшись лицом в ее теплые колени, жаловался он на своего начальника, который пьет безбожно, а ему, Скирдюку, приходится покрывать недостаток.

— Не выручит теперь батя — застрелюсь. Одна дорога...

Как ни была Зина обижена на отца еще и за связь его с Эсфирь Марковной, за оскорбленную мать, она отправилась на Салар. Зурабов все же любил дочь. День спустя он сам пригласил Скирдюка на холодильник. Надутая Эсфирь Марковна, всячески изображая, что жертвует собой во имя чужого благополучия, с треском оторвала накладную, не забыв занести нужные цифры в свой личный блокнот, который прятала в сумочке. Скирдюк уже хорошо понял, что она не пропустит часа, когда он должен вернуть товар с хорошим процентом. Однако проверка, которую, как и не зря предчувствовал Скирдюк, устроил-таки Хрисанфов, нашла все продукты, полученные сверх положенной нормы, на складе. Хрисанфов мог отругать Скирдюка лишь за то, что говяжьи туши, которые хранились в погребе, могут заветриться.

— На кой черт вывез лишнее? Пусть бы оставалось на холодильнике.

— Виноват, — ответил Скирдюк, — да куда ж теперь денешься?

Однако именно в эту ночь увез он сам в одиночку на бричке эти туши обратно на Салар. Вот тогда-то и заметил ездовой Алиев, что старшина таскает мясо туда-сюда.

И все же он просчитался. Произошло неизбежное. Помощник начальника училища по политчасти, вообще-то сторонившийся хозяйственных забот, сам решил, очевидно, по чьей-то жалобе, проверить продовольственный склад. Произошло это всего лишь сутки спустя. Хрисанфов пригласил замполита, щеголеватого, отвоевавшего свое майора с обожженным лицом на склад. Вид у Хрисанфова был спокойный и

самодовольный: у нас все в ажуре, сами убедитесь... Скирдюк же обмер от страха.

Судьба все же дала ему опять поблажку: примчался вестовой и доложил, что замполита срочно вызывают на учения в поле, где находились те самые курсантские батальоны; там произошло какое-то «чп». Майор, чертыхнувшись, предупредил, что, как вернется, начнет все сначала.

Скирдюк тут же примчался на холодильник и вместе с Зурабовым отправился уламывать Эсфирь Марковну снова. Однако вскоре Мамед Гусейнович забежал глазами и оставил их одних.

— Я не позволю тебе ничего вывезти не только на сутки — даже на одну минуту, — непреклонно заявила тогда Эсфирь Марковна, ударяя ребром ладони о стол. — Хватит! Чуть сама из-за тебя не погорела. Нужны мне очень все эти переживания.

— Не даром же, Фирочка, — пробормотал Скирдюк.

— Фи! Постеснялся бы вспоминать про такую мелочь, жлоб. Слава богу, я не твоя любовница, а то бы я тебе обратно в рожу швырнула эту булавочку. Не стыдно ему вспоминать про нее...

— Что тебе нужно, скажи? — едва ли не взмолился Скирдюк.

Она ответила жестко, по-мужски, так же как курила — глубоко затягиваясь, выпуская дым клубами:

— Нужно то, голяк, чего у тебя нет и никогда не будет: золото.

— Много? — спросил Скирдюк, сам не понимая, к чему этот вопрос.

Эсфирь Марковна брезгливо передернула плечами:

— Какая разница? Можно подумать, тебе только и остается: открыть свой кошелек и отсчитать монету.

— Это посмотрим еще, — Скирдюк уже решил. — Говори, сколько надо?

Что-то уловила она в его тоне, заставившее поверить. Она достала из сумочки свою смятую тетрадку, заглянула в нее и быстро защелкала на счетах.

— Конечно, я понятия не имею, какой сейчас валютный курс и где он вообще есть, — бормотала она, продолжая считать, — но, думаю, монет десять, наверное, хватит. Да, десять. Это не так много, но что с тебя возьмешь? Сомневаюсь, чтоб ты даже это достал.

— В понедельник получишь, — Скирдюк ударил кулаком по столу, — но чтоб товар был. Поняла? — он опрометью выскочил из конторы. Эсфирь Марковна услышала, как взревел его мотоцикл, и скептически выпятила накрашенную губу.

Он отвез на почтамт открытку на имя Любви Львовны Козел (не забыл, конечно, это имечко), а следующие сутки провел, словно в горячке. Механически исполнял то, что требовалось по службе. Хрисанфов был по-прежнему беспечен и за обедом даже подмигнул, как бывало, своему старшине: не найдется ли чего? Скирдюк достал бутылку.

Сам он не пил. Едва дождавшись нужного часа, выскочил на мотоцикле на пустынное бульжное шоссе.

Он оказался первым у окошка, где выдавались письма до востребования, и как только появилась пожилая женщина с отеком серым лицом, протянул ей свое удостоверение. Очень долго — Скирдюк извелся ожидая — перебирала она конверты, солдатские треугольники, бледно-синие бланки телеграмм, а затем уронила:

— Пишут...

Он не понял этой привычной в ее устах шутки-утешения и переспросил хрипло:

— Кто пишет?

— Это вам лучше знать, — ответила она уже раздраженно и позвала:

— Кто следующий?

Негнуцимися пальцами Скирдюк спрятал удостоверение в карман кителя. Он побрел к выходу, не видя никого и бессознательно повторяя вслух:

— Как же так? — и вдруг прозрел: — Насмехается он надо мною, падла! И фамилию придумал какую! Козел... Чтоб до самых печенок донять...

Кто-то придержал его сзади за локоть, будто хотел опередить в дверях. Он оглянулся и увидел Романа Богомольного.

Минут пятнадцать спустя сидели они в пустынном парке на берегу мутного Салара, на холодной скамье.

— А ты, оказывается, парень-жо, — говорил, посмеиваясь, Роман, — смекнул, выходит, что я попросту хохмил с этой Любочкой Козел.

Скирдюк все же еще сомневался:

— Ты что, случайно пришел сейчас на почтамт?

— Клянусь! — Роман постучал пальцем по своей груди. — Интуиция. Такое слово известно тебе?

— Да-а, — скептически протянул Скирдюк, — а ушел бы я себе ни с чем, где была бы тогда твоя интуиция?

— Ну, если по-серьезному, то отправлял я с почтамта деньги в Коканд. Тетка там у меня с двоюродными сестричками. Тоже — эвакуированные.

Школьницы еще. Бедные девочки...

И опять послышалось Скирдюку нечто фальшивое. Однако был он настолько поглощен своими нелегкими заботами, что, пренебрегая всем, даже недавней жгучей обидой у окошечка почтамта, рассказал Роману без утайки, что с ним стряслось, и не попросил, а потребовал:

— Выручай, коли ты в самом деле товарищ.

Роман молчал так долго, что Скирдюк спросил уже в сердцах:

— Ну, так что?

Роман резко повернулся к нему.

— Слушай, — он смотрел на Скирдюка так, будто впервые увидел его, — за кого ты, собственно, говоря, меня принимаешь? Я что, по-твоему, валютчик какой-то, маклак?

— Ты ж сам говорил, что из-за шухера какого-то с валютой прибежал до меня тогда, — несколько растерянно возразил Скирдюк.

— Так, так, — в пространство произнес Роман, — выходит, ловишь ты меня на слове... — он вдруг всполошился, вскочил и огляделся.

Мужчина в шинели внакидку и его спутница в берете и резиновых ботах прошли мимо, озабоченно обсуждая что-то на ходу.

Роман следил за ними напряженным взглядом и молчал, пока они не удалились.

— В бога ты веришь? — спросил он тихо, но внятно и наклонился к самому лицу Скирдюка.

Поколебавшись, старшина кивнул и даже обозначил пальцами у груди нечто напоминающее крестное знамение.

— Нет, Степа, — Роман печально вздохнул, — ни в кого ты не веришь: ни в бога, ни в Карла Маркса. А жаль. Потому что побожишься и тут же забудешь про это! А мне гарантия нужна, гарантия. Ты понимаешь?

— На что тебе она, эта твоя гарантия?

— Слушай добрых людей, Степа. Потому что вспомнил я все-таки: имеется человек, который даже золото даст, если потребуется.

Скирдюк вскинулся в надежде.

— Но не даром же он даст, как ты, наверное, догадываешься! И не в долг, потому что поручиться тебе нечем. Это и значит, что гарантии у тебя — ровным счетом никакой.

— А что ж ему надо, тому человеку твоему?

— Сиди. Сейчас поймешь, почему я именно про него вспомнил. Эх, держал бы ты в памяти мои дела и заботы, как я — твои... Ну да ладно... Так послушай, что я сообразил. Помнишь, ты часто рассказывал про этого зинкиного брата, который еще в госпитале с тобой лежал?

— Помер же он.

— И царство ему небесное. Но документы его, ты же говорил, в доме у них остались.

Скирдюк начал догадываться.

— Не-е, Рома, на такое дело я не пойду! Пусть лучше за ноги повесят — все едино...

— Чудак, — Роман зашептал горячо, — разве же я предложил бы тебе что-то уголовное? Все просто как дважды два: фраер этот, у которого, я думаю, золото найдется, посеял где-то по пьянке все свои бумаги; теперь уже вторую неделю прячется, нос боится на улицу показать, тем более, что он — на примете: крутился он на бирже немножко. Это за ним было. Не скрою, конечно, конкуренты, злопыхатели рады бы заложить его с потрохами. Так вот, он только вчера мне говорил (я его только один и проводываю), ничего не пожалеет за документы. Чтоб только из Ташкента выскочить безо всяких.

— Так он что ж: за какое-то удостоверение личности даже золотом заплатит? — Скирдюк не скрывал подозрительности. — Да на вокзале у жулья за две бумажные тридцатки хоть черта лысого купишь.

— Умница! — презрительно протянул Роман. — А биография? Ее же вместе с ворованными документами не продают? А тут даже я кое-что помню, а ты еще расскажешь мне поподробнее. Я ему и передам. Тогда он — с полной оснасткой будет. Смекаешь?

— Нехорошо это все-таки, Рома.

— А тибрить у будущих фронтовиков их курсантский паек, пускать его на пьянки и на баб — хорошо? — Роман поднялся. — Как хочешь. Условимся все-таки так: я ничего не говорил, ты ничего не слышал. Гуляй, Степа и смотри: перед трибуналом держись молодцом, — он встал и быстро ушел вверх по песчаной аллее.

Скирдюк сидел в оцепенении. Он словно лишился сил, не мог подняться. Лишь потом медленно побрел он к воротам парка. Там, у парикмахерской оставил он свой мотоцикл, когда они с Романом приехали сюда.

Пианиста не было видно, хотя Ассакинская, пустынная в этот час, просматривалась до самого верху, до скверика с гипсовым бюстом Куйбышева посредине клумбы с давно увядшим шафраном, от которого теперь оставались лишь ржавые стебли. Скирдюк ожесточенно толкал подошвой пружинящую педаль мотоцикла, который не желал заводиться. Он невольно вспомнил, что и самому ему приходила однажды мысль — скрыться, сбежать куда глаза глядят с документами того же Назара



Зурабова — чистого и честного перед богом и людьми. Чем же он, Степан Скирдюк, лучше того неведомого ему человека, который, пусть по своим каким-то причинам, видит выход в подобном же бегстве под тем же чужим именем?

Мотор наконец затрещал, и тут из парикмахерской вышел Роман Богомольный и начал, будто не замечая старшину, переходить улицу наперерез ему.

Скирдюк притормозил.

— Послезавтра, — сказал он, сдерживая рвущийся мотоцикл, — в обед. Слышишь?

— На той же скамейке, — бросил будто проходя Роман. Он словно обращался не к Скирдюку, а к каким-то девушкам, которые стояли, разговаривая, напротив на крылечке старого особняка; даже рукой помахал им, хотя они не обращали на него внимания, и добавил тоже, будто обращаясь по-свойски к этим же девушкам: — Чтоб все бумаги были до единой. — И ушел, приветливо помахав девушкам, которые недоуменно переглянулись и прыснули смехом.

Едва освободившись от дел, Скирдюк принес в дом Зурабовых свой чемодан и коверкотовый китель, купленный еще весной у одного лейтенанта, уезжавшего на фронт.

— У вас тут надежней будет, — сказал Скирдюк, — а то я хату свою кидаю на весь день, а жулье шастает — сил нет.

Особо большое впечатление поступок этот произвел на Полину Григорьевну. До сих пор, прислушиваясь к материнскому сердцу, поглядывала она на старшину все же несколько недоверчиво: «Знаем таких... Сегодня у него одна, завтра — другая». Но в тот вечер Полина Григорьевна была весьма приветлива и даже затеяла пироги к чаю. Пока она возилась с тестом, Скирдюк сидел с Зиной у нее в комнате. Зина, кажется, ждала от него сегодня признания и, чтобы уйти от этого, а также чтобы как-то естественней можно было заговорить об умершем Зинином брате, Скирдюк, радуясь, что его осенило, попросил:

— Зинок! Показала бы ты мне свои фотографии.

Расчет был еще и такой: если, что вполне вероятно, Зина уже отыскала документы Назара, она, вспомнив о нем, может вдруг и сама сказать об этом.

Не без сожаления Зина отстранилась от Скирдюка, поднялась и выдвинула из комода скрипнувший ящик. Она достала два тяжелых альбома. Скирдюк положил ей на плечо руку, и они принялись рассматривать фотографии. С застенчивым смешком закрывала Зина те, на

которых она была снята еще в младенчестве, голенькая, а потом — толстенькая девчушка в пионерском лагере, с горном, прижатым к колену. Фотографии брата пока не попадались, а Скирдюк между тем лихорадочно припоминал, не вырвалось ли у Назара, когда они лежали рядом в госпитале, хоть что-нибудь об этих спрятанных им документах. «Дернуло же меня тогда в ресторане натрепаться про них! — запоздало корил себя Скирдюк. — Нолик или Полик, как уже там не припомню, завел меня. Да и перед дивчиной показаться хотелось»... Но, вспомнив о разговоре в ресторане, он словно поймал какой-то хвостик. Да, да! Был же какой-то намек! Был! Говорил же как-то Назар... Глядел, глядел в потолок, а потом и молвил вроде бы про себя, но Скирдюк слышал: «Неужели же я их в пластинки затолкал? — сказал тогда Назар, и сам себе возразил: — С чего бы вдруг — в пластинки? А может, и так...»

Он переворачивал плотные серые страницы. Мелькали лица бесчисленных родственников, конечно же — со стороны Мамеда Гусейновича: усатые дядюшки в черкесках, грузные тетушки в лисьих салопах и бархатных платьях, увешанных ожерельями, юноши с тонкими усиками (пальцы непременно на кинжале), девицы с огромными, как сливы, пугливыми глазами.

— А что же это материнских твоих не видать? — осторожно спросил Скирдюк.

— У мамкиных житье было совсем другое, да и не встречалась она почти что со своими. Пятнадцать лет было, ушла в Харьков, в прислуги.

— И братишки твоего, Назара, тоже не видать, когда он маленьким был.

— Папаша не любил эти фотографии. Там Назарка был больше всего с отцом своим родным снят, у которого в доме мама прислугой работала. Отец у него был, кажется, ученый какой-то, что ли. — Зина покосилась: плотно ли прикрыта дверь. — Намного старше мамки. Но все равно он ей нравился. Сама я слышала, как мамка один раз подруге своей про все это рассказывала. Водил мамку в какие-то кружки, на лекции: все мечтал, чтоб она его по уровню догнала. Поженились они законно, ты ничего такого не подумай. И Назарке дали революционное имя — Назарлен. Значит: Навстречу Заре Ленинизма. И, наверное, мамка и вправду стала бы образованной, только что-то случилось с ее первым мужем. Точно не знаю, но в общем осталась она с Назаркой одна, переехала в Среднюю Азию, а была тогда красивая, статная, ну, папаша, значит, на ней и женился, даром, что с ребенком была на руках. Только не мог он все-таки примириться с ее первой любовью. Может, потому даже к Назарке ревновал. Так вышло, что

Назарка лет с десяти жил у каких-то его родственников в Харькове, а потом окончил в Москве университет. Я его почти что и не видела, — глаза у Зины затуманились. — Такой хороший парень... И умница — все вокруг говорили.

Скирдюк проследил за ее взглядом и снял с тумбочки фотографию в рамке, под стеклом. Назар, в мешковато сидевшем на нем кителе, как-то неловко улыбаясь, смотрел в сторону от аппарата. Волосы у него были растрепаны и вид он имел вообще не воинский.

— Увеличить бы не мешало, — как бы в раздумье произнес Скирдюк.

— Мамка с другой карточки портрет хочет сделать. С той, что на комсомольском. Ей та больше нравится. Смотри, — Зина повернула рамку обратной стороной и вытащила из-за картонки тоненький комсомольский билет.

— А ну, дай, дай, поглядим, — Скирдюк делал вид, что изучает крохотную фотографию. — Может, где еще что-то Назаркино найдется? — спросил он, стараясь оставаться равнодушным.

— А что может найтись? — откликнулась Зина. На пухленьком лице ее появилось недоумение.

Значит, не находила она никаких документов, и он поспешил ее успокоить:

— Да просто — интересно. Я ж его тоже знал... — и тут же произнес хрипло: — В горле все сохнет и сохнет.

— Да! — спохватилась Зина. — Мама же просила помочь ей с пирогами к чаю. Ты поскучаешь здесь без меня, ладно? — шепнула она на ухо ему, он попытался удержать ее, но Зина выскользнула и убежала, смеясь.

— Я патефон послушаю пока! — крикнул он вслед Зине. — Можно?

— Конечно! — удивленно откликнулась она, уже закрывая за собой дверь.

Он поставил громкую музыку — какой-то фокстрот, а сам, стараясь действовать неторопливо, хотя руки у него тряслись, начал снимать одну за другой пластинки и перебирать их, вытряхивая из конвертов. На столе выросла расползающаяся стопа, но ни в одном из потертых, а то и порванных пакетов никаких бумаг не было.

— Ты что ищешь, Степа?

Он вскинулся, как от удара хлыстом.

Зина стояла на пороге, уже с минуту, наверное, наблюдая за ним.

Скирдюк забормотал что-то о модной песенке «Пожарник». Он же помнит, что они однажды слушали ее с Зиной, а вот сейчас никак эту

пластинку не найти.

— Нужна она тебе, — пренебрежительно произнесла Зина, — старье! Я их отдельно держу, — она раскрыла дверцу шкафчика, на котором стоял патефон.

— Зинуля, доченька! — сладким голосом позвала Полина Григорьевна. — Иди сюда, детка. Сейчас пироги вынимать будем.

— Приходи скорей, — сказала Зина, выбегая.

— Ага, ага... Я ж только пластинки обратно пособираю, а то неудобно... Пораскидал тут.

Скирдюк воровато глянул на дверь, встал на колени и достал из шкафчика целую стопу пластинок. Зашарил пальцами внутри одного пакета, другого и нащупал плотный коленкорový футлярчик. Дрожащими пальцами вытащил он за краешек гладкую, сложенную пополам бумагу, увидел заполненный машинописным текстом бланк с красной и фиолетовой печатями и тут же услышал приближающиеся шаги. Он затолкал футлярчик за пазуху, где уже лежал комсомольский билет Назара Зурабова, и растерянно вскочил.

— Ну и настырный же ты все-таки, Степа, — по-доброму упрекала, стоя в дверях, Зина. — Мы же ждем!

На столе глянцевито поблескивал жирной корочкой пирог с капустой — несомненно, гордость хозяйки.

Все-таки Скирдюк на час опоздал, но пианист терпеливо дожидался там, где условились.

— Иди прогуляйся, — велел Роман, — встретимся минут через десять возле запертого киоска. Видишь?

Роман исчез, а появившись, двинулся навстречу Скирдюку, попросил прикурить и опустил в карман ему горсть тяжелых кругляшек. Он тут же удалился, кивнув так, будто они не были знакомы, и не молвив на прощание ни слова.

«И бес с ним...» — подумал Скирдюк, не испытывая, однако, особого облегчения. Все же ему необходимо было утешить себя: «Не обязательно же он — враг какой-то? Нужна ему, наверное, полная отмазка. Смоется подальше — и конец!» Скирдюк и не заметил, что уже рассуждает так, будто не сомневается, что документы Роман взял именно для себя, а не для какого-то наверняка выдуманного им валютчика.

Он примчался на холодильник и, дождавшись, пока Эсфирь Марковна осталась одна, бросил ей прямо в сумку золотые монеты. Он видел их впервые в жизни, но расстался с ними без сожаления. Кончился бы только

этот кошмар, преследовавший его днем и ночью: ревизия, недостача, трибунал... Но Эсфирь Марковна не подвела, а Мамед Гусейнович Зурабов, ввиду того, что шофер куда-то запропастился, лично повел полуторку с продуктами в училище.

Справившись с делами, выпивали и закусывали у Зурабовых, где Скирдюк и впрямь начинал чувствовать себя как дома. Однако все это испарялось, едва он трезвел. Неплохая девчонка Зина, что кожа негладкая, к тому привыкнуть можно, и все же в жены она не годилась. Жена была одна — Галя, ради которой он родное село когда-то покинул, в Володарку перебрался, не говоря уже о мытарствах в пору ухаживания, о разладе со своими батьками, которые прочили ему в невесты соседскую Фросю, о насмешках односельчан, о тумачах и побоях (что ни вечер поджидали настырного Степана у околицы свирепые, как цепные псы, ревнивые володарские хлопцы). Он все снес и вытерпел бы куда большее, любила бы только его она. А Галя даже сынишке несмышленому, Миколке, внушала, будто шутя, но не умея скрыть неприязнь:

— Батько-то у нас — цыган немый...

И водка, и кутежи, и раздражавшая своей болтливостью Надя, — все было главным образом от тоски, от бессилия перед так и не преодоленной холодностью Гали. Сейчас, когда в Володарке хозяйничали немцы, боль эта не утихла, а стала еще острей. Но не поэтому, вовсе уж вопреки своему желанию, вторгся Степан Скирдюк в жизнь Наили Гатиуллиной.

Он старался забыть о Романе Богомольном, начал хозяйничать на складе так добросовестно и честно, что повар Климкевич, которому лишнего теперь не доставалось вовсе, ходил надутый и грозился подать рапорт о переводе в караульный взвод. «Там по крайней мере не буду возле котлов маяться в жару...»

Не только перед курсантами («Что я там брал? От каждого пайка, если разложить, даже по грамму не придется») чувствовал себя виноватым старшина Степан Онуфриевич Скирдюк. «На что сдались тому клятому Назаркины бумаги?» Он находил те же оправдания: скрыться нужно; черт с ним, пускай даже он — дезертир! Раз сволочь, то может и лучше, если на передовую не попадет. Однако не отпускала мысль: не стоит ли за этим что-либо гораздо худшее? Что именно, об этом не хотелось и догадываться. И все-таки: «Нема дурных, чтоб задарма золото кому-то давали...»

Дней десять спустя, когда уже в сумерках возвращался он из части к себе, кто-то вышел из-за обширного ствола голой чинары и тронул Скирдюка за локоть. Даже не оборачиваясь, он догадался: «Ромка... Значит, не для себя он документы взял!»

— Только два слова, — тихо произнес пианист и увлек Скирдюка в сторону, к глухой стене станционного склада.

— Давай лучше ко мне зайдем, — неуверенно предложил Скирдюк. Непонятная тоска охватила его.

— Сюда, сюда, — требовательно произнес Роман, — запомни: ты меня не знаешь, так же как и твоя подружка, которая меня тогда утром видела. Надеюсь, ума у тебя хватило, не говорить ей, кто я есть?

— Она и не спрашивала про тебя никогда, — возразил Скирдюк, хотя и не был убежден в этом. Вспомнилось, что и на Протопопову Роман, кажется, произвел впечатление, хотя едва ли удостоил ее хоть словом. Да, да! Она же пожаловалась, встретившись со Скирдюком около рынка: «Передай своим ташкентским друзьям, что надо быть более вежливыми. Ворвался, я в таком беспомощном виде, а он, нахал, даже не извинился. Сидит себе, глаза за очками прячет и ухмыляется как кот. Я сама вынуждена была попросить его, чтоб вышел, пока оденусь... — и тут же с несомненной заинтересованностью: — Он что, со всеми женщинами такой?..»

— Гляди! — в голосе Романа появилась угроза. — Бабские языки страшнее пистолетов. Об этом и речь сейчас, — он заглянул за угол склада, убедился, что и там пусто, и повернул Скирдюка к себе лицом. — В общем, Степа, теперь я влип окончательно. — Он зашептал хрипло: — Твоя очередь выручать. Короче: надо было мне какое-то время под чужим именем пожить. Подробности тебе не нужны. Важно, чтоб понял: меня могут попутать, тут одна вдруг встретилась. Я уже и забыл, где, откуда ее знаю, а она, оказывается, помнит, что я — Рома, а не Назар. И всё!

— Так выходит... Ты документы для себя брал?! — Язык у Скирдюка заплетался.

— Да, да! — сердито прервал Роман. — Догадался наконец, умница! И никогда об этом не вспоминай! Давай — о деле. Зовут ее Нелька — Наиля, значит. Фамилия Гатиуллина. От тебя требуется немного: познакомиться с ней, адрес я узнал. Набережный посёлок, барак 17, квартира 4. У тебя все это получится легко. На Зиночке убедился.

— Ей-богу, не могу я больше... На что это все тебе, Рома?

— После узнаешь. Я же не требую, чтобы ты мне выкладывал про все свои шахеры-махеры. Сказал: нужно золото, мне этого было достаточно.

— Зачем еще эта Нелька тебе?

— Слушай и не перебивай. Подобьешь ее на мелкую кражу. Пусть вынесет из лаборатории, где работает, что угодно, хоть лампочек пару. Важно, чтоб ее застукали на проходной. И все. Понял?

— Угу. Все понял я, Рома, — Скирдюк дал наконец прорваться раздражению против этого интеллигентика, пижона. Какого черта командует он опять? Ну, дал золото, так не задарма же? Может, он шкуру свою, благодаря тем бумагам, спас! Они в расчете. И Скирдюк, сам от себя того не ожидая, толкнул пианиста в грудь. — Гуляй, Рома! Я тебе ничего не должен. Хватит!

Роман вновь бросил быстрый взгляд по сторонам и за лацканы шинели привлек к себе Скирдюка.

— Ошибаешься, мальчик, — просвистел он в лицо старшине, — мы с тобой сейчас одной веревочкой связаны. Прочно. Не разорвать. А рыпнешься — пиши завещание.

— Не пугай, я пуганый, — все еще храбрился Скирдюк, но Роман зло прервал его:

— Хватит! Мне достаточно дунуть чуть-чуть, и прокуратура от тебя мокрого места не оставит.

Скирдюк горестно усмехнулся:

— Так неужели ж ты, друг, даже и на такую подлость способный?

— А ты что — лучше? — раздраженно возразил Роман. — Ты горел, я спасал тебя. Один бог знает, чего это стоило мне. А теперь ты не можешь пустяка для меня сделать — какую-то дуру на время с моего пути убрать.

— Убивать ее я должен, что ли? — Скирдюк ухмыльнулся.

— Не хохми зря. Никто от тебя ничего такого не требует. Достаточно толкнуть ее на то, чтоб вынесла что-нибудь. Пусть хоть пустяк какой-то: провода моток, банку краски... Охрана у них мощная, застукают. И — достаточно. Пусть хоть на время задержат ее. Хоть на двое суток. Меня и это устроит. Вот и все. А ты сразу в бутылку лезешь.

Скирдюк все еще сомневался.

— Как же это ваши с ней дорожки скрестились, Рома?

— Все-таки, Степа, ты туповат, извини меня, конечно. Зачем тебе это знать? Сделай то, о чем я прошу — и мы в расчете. И помни: осталось только поднести ко мне спичку, и я вспыхну ясным пламенем. Три дня сроку тебе. Я пошел.

Обитателей не было видно. Праздный люд здесь не проживал. Кто отдыхал сейчас, после ночной, кто был на работе в цехах.

Он без труда отыскал барак, в котором жила Наиля. Комната ее была заперта на внутренний замок. Он убедился в этом, когда, походя, с силой толкнул дверь.

Уже темнело, но свет в окне все не появлялся. Наиля, очевидно, была

на работе.

План Скирдюк составил нехитрый для того, чтобы познакомиться с Наилей. Тут могла безотказно сработать незамысловатая болтовня, приветливая улыбка, шуточка: «У вас четвертая квартира?» — «Да, а что?» — «Да ничего страшного, не пугайтесь. Приятно, что здесь такая симпатичная хозяйечка». — «Чего вы хотите?» — «Скрывать не буду: поговорить с вами хочется. А вообще-то я пришел по этому адресу потому, что мне его в эвакупункте дали, в Ташкенте. Сказали, что здесь моя родня эвакуированная поселилась. Выходит, ошиблись они. (Вздых и опять — улыбка). А я все едино — довольный, ей богу! Так может, пустите, побалакаем? Я, между прочим, и захватил кой-чего (выразительный взгляд на портфель...).

Трудно сказать, попалась бы на эту удочку Наиля или нет, но, бродя среди мазанок, Скирдюк начал узнавать эти места и вспомнил все-таки, что, оказывается, был уже здесь. Со знакомым летчиком заходили к какой-то Клаве. У нее еще ребеночек маленький был, возможно, от того веселого пилота. Орал пацан как оглашенный, пока они тут водку пили. Как же звали ту соседку? Дай бог памяти... Да, точно — Клава!

Скирдюк ткнулся в одну квартиру, в другую, и в самом деле ему указали Клавиной дверь. Он постучался и обнаружил именно ту самую Клаву с уже изрядно подросшим Витькой на руках. Соврал с ходу: давно, мол, нравится татарочка, которая рядом проживает. Будь другом, Клабочка, познакомь...

И вскоре все они, не исключая хнычущего Витьку, уже сидели в узкой комнате Наили у подоконника, заменявшего стол. Наиля только вернулась со смены, однако визит кареглазого приятного старшины заставил ее забыть об усталости. Она проворно растопила печурку, согрела чайник и затируху — похлебку, заправленную мукой и хлопковым маслом, которую принесла с собой из рабочей столовки. Несколько торжественно добавил к этому Скирдюк и своих, как он выразился, гостинцев: изрядный кусок докторской колбасы, банку говяжьей тушенки, пару французских булок и бутылку красного вина.

Наиля оробела, в светлых глазах ее, прикрытых длинными редкими ресницами, появился откровенный испуг. Она, несомненно, почувствовала во всем этом какую-то несправедливость, хотя Клава, выбирая минутку, то и дело горячо шептала ей на ухо, что старшина давно издали влюбился в нее да все не решался прийти. Однако не только вино и неожиданно богатое угощение, но и сам Степан, внимательный («А вы вот, Нелечка, попробуйте, я для вас тушенку чуть на ножичке подогрел. Вкусней же,



правда?»), веселый (он так и сыпал анекдотами один другого смешней и довел Клаву, раскрасневшуюся от вина и закуски, до икоты), конечно же, тоже понравился ей, отвыкшей от общества мужчин.

Витька, верный себе, ожег палец о горячий бок чайника и разорался так, что Клава, шлепая его на ходу, вынуждена была к великому огорчению своему удалиться к себе. На пороге, продолжая корить Витьку, она обернулась, еще раз бросила на старшину заинтересованный взгляд и, вздохнув, ушла.

Скирдюк переменял тон. Он погрузился и, хотя Наиля не проявляла любопытства к его прошлому, начал рассказывать о своей незадавшейся жизни, о своих «батьках», которые до сих пор остаются там, под немцами, там же — и любимая девушка, которая, разумеется, изменила ему и вышла замуж едва ли не за какого-то полица. Он же, безутешный, все не найдет себе никого по душе. «Чтоб хотелось все сердце открыть. От как все равно с вами теперь...»

Наиля откликнулась вяло. Она уже не в силах была преодолевать усталость. Глаза у нее слипались, и Скирдюк начал прощаться. Уходя, он «забыл» за плитой кулек с пряниками и конфетами, а на вешалке оставил планшетку с пустыми бланками накладных.

Он явился якобы за этой планшеткой на следующий день, едва Наиля вернулась домой. «Вы извините, конечно...» Но она сама тут же отдала ему планшетку и кулек, хотя он совал ей его обратно до той поры, пока конфеты не рассыпались. Смеясь, они начали их подбирать, Скирдюк коснулся будто ненароком легких рассыпавшихся волос Наили и поправил их.

Она резко отстранилась.

— Не надо, — Наиля мельком бросила взгляд на свое отражение в зеркале, висевшем над постелью, — вы думаете, я не знаю, что у вас девушки покрасивей, чем я.

«Порасспрашивала, конечно. Понарассказывали ей проклятые бабы про меня, чего было, чего не было...»

Умышленно, разумеется, засиделся он до комендантского часа.

— Как же вы теперь будете? — испуганно спросила Наиля. Она выпила вместе с ним немного водки, ей надо было идти в дневную смену, могла отдохнуть подольше, однако, хотя и смеялась шуткам и побасенкам старшины, оставалась по-прежнему неприступна, едва он сделал шаг к сближению.

Скирдюк понимал ее опасения.

— Да постелите мне хоть на полу, — с наигранной беспечностью произнес он.

Пол был земляной. Уложить на нем сейчас, в сырую пору, человека было бы жестоко.

Наиля быстро расстелила простыни, взбила подушки и указала на кровать:

— Ложитесь.

— А вы, Нелечка, что же: сидеть будете всю ночь, на меня глядеть будете? — он глуповато хохотнул.

Наиля пожала худенькими плечами.

— Зачем так? К подруге пойду. Подруга как я сама будет — маленькая. Вдвоем как раз поместимся.

Он чувствовал: это — не игра и не решился настаивать.

Наиля ушла. Он лежал и в тусклом свете похожей на грушу лампочки осматривал убогое жилище этой девушки, оказавшейся на пути у него, по причинам, о которых ему и думать-то не хотелось сейчас. Однако так или иначе он искал решения. Знал: окаянный Ромка не отстанет! И тут взгляд Скирдюка упал на две, тоже грушевидные, связанные обрывком провода лампочки, которые висели на гвоздике справа от двери. На табуретке лежала холщовая сумка, с которой Наиля ходила на работу. Какое-то мгновение он колебался, потом быстро вскочил, снял лампочки с гвоздя и сунул их в сумку, под синий халат и матерчатые туфли, которые Наиля, очевидно, надевала в цехе. Погасил свет и закрыл глаза.

Вечером он пришел в поселок пешком, стараясь не привлекать ничье внимание, встал, покуривая, за трансформаторной будкой как раз напротив барака, в котором жила Наиля. Противоречивые чувства как и прежде терзали старшину Степана Скирдюка. Он совершил подлость, из-за которой по строгим законам военного времени эту и без того, как он понимал, не очень счастливую девушку могли даже осудить.

«Много ей не дадут, — утешал он себя, — год принудиловки, не больше. Зато арестуют. Оно и довольно, чтоб тот, скаженный, от меня отстал...»

Темнело рано, глиняный поселок не освещался, и работницы, опасаясь хулиганов, возвращались все вместе — ватагой. Они прошли, и вскоре замерцали желтоватым светом оконца. У Наили было темно. Скирдюк подождал еще немного, пробормотал заковыристое ругательство, сам не понимая, кому предназначенное, и с некоторым чувством облегчения (дело все же сделано) вышел в переулок. И вдруг столкнулся с Наилей.

Деваться было некуда.

— Нелечка, — оторопев произнес Скирдюк, — я ж вас жду, жду... Чего

это с вами?

Она не могла попасть ключом в скважину.

— Давайте я...

Наиля вошла в комнату, обессиленно опустилась на табурет и закрыла лицо руками. Плечи ее мелко тряслись.

Скирдюк присел рядышком, осторожно обнял ее, погладил легкие волосы.

— Нельзя так убиваться, Нелечка, чего б там ни случилось у вас. Может, попьем чайку, а? Я как раз и согрею.

Он быстро наколот узбекским топориком-тешой щепки, растопил печку, поставил чайник, а на стол — снедь, которая, благо, всегда была у него в портфеле. Нашлась там и бутылка сладкого вина.

— Живем, Нелич! — воскликнул он тем приподнятым голосом, в котором все же угадывалась фальшь. — Я тут «доппель-кюммелем» разжился. Еще довоенный. Гляди. Тебе такое пробовать доводилось?

— Мне все равно, — бесстрастно откликнулась наконец Наиля, — ничего мне не надо.

— Может, закуришь?

— Дайте.

Она глубоко затянулась несколько раз подряд.

Скирдюк возился с чаем, мучительно пытаясь сообразить, что же с ней произошло? То, что ее задержали на проходной, несомненно. Но почему же отпустили? Может, подписку взяли, что явится к следователю? Или поручился за нее кто?

Между тем надо было как-то успокоить ее и разговорить, чтоб узнать, что же с ней случилось? Есть Наиля отказывалась, пить вино — тоже, хотя Скирдюк изощрялся как только мог, уламывая ее, даже на одно колено встал перед ней.

— Не надо, — Наиля сделала вялое движение рукой, показывая, чтоб он не дурачился. Ей было явно не до того.

Он молчал, обескураженный ее непреклонностью, но понимал, что уйти от нее, так и не узнав главного, нельзя. Взгляд его упал на портфель, который он оставил на табурете раскрытым. В темном зеве портфеля белела книжица, которую сунул ему недавно на базаре какой-то человек в потрепанной одежде. Он заметил, как Скирдюк достал «Беломор», и несмело попросил у него закурить. Старшине почему-то стало жаль этого выбитого, очевидно, из жизненной колеи интеллигента с покрытым седоватой щетиной умным лицом, и он отдал ему все, что еще оставалось в пачке: с десяток папирос.

— Даром у вас взять не могу. Ни в коем случае! — решительно произнес интеллигент, не то — состарившийся учитель, не то — адвокат, и сунул упирающемуся и смеющемуся Скирдюку небрежно обрезанную старую книжицу. — Вы не обращайтесь внимания на внешний вид. Прочтите. Не пожалеете. Сентиментально, правда, но классика есть классика!

— Законная вещь, — сказал сейчас Скирдюк Наиле, — я начал читать — не оторвешься, ей-богу.

Она оставалась все так же равнодушна, однако Скирдюк стал читать. Постепенно Наиля начала поднимать на него насупленный взгляд. Лоб ее был сморщен, лицо подурнело, однако история несчастливой аристократки госпожи Моро и ее юного возлюбленного Эмиля, прелесть тайных свиданий, зов любви, той, что сильнее смерти, тронули и ее, тем более, что читал Скирдюк в самом деле неплохо, невзирая на странное для ее слуха украинское произношение. Он читал допоздна, и Наиля не прерывала его. Только однажды она попросила снова папиросу, а Скирдюк воспользовался этим и сунул в ее пальцы стакан с доппель-кюммелем, густым, сладким и дурманящим. Она выпила залпом и задохнулась.

— Закуси, — Скирдюк подал ей конфету.

Она отрицательно помотала головой.

— Читай, что там дальше было.

Он перевернул последнюю страницу и тоже умолк, переживая драму чужой любви.

— Ну и ну! — воскликнул он какое-то время спустя, словно бы спохватившись. — Мне ж теперь опять выйти с дома никак нельзя: комендатура сцапает живо.

Не отвечая, не глядя на него, Наиля расстилала постель.

— Ты к соседке? — спросил он, все еще не надеясь.

По-прежнему молча, Наиля щелкнула выключателем.

Он не видел ее в потемках, но безошибочно угадывал каждое движение. И когда, раздевшись, Наиля юркнула под одеяло, Скирдюк, волнуясь так, будто происходило с ним это впервые, начал поспешно стаскивать сапоги.

Проснулся он всего лишь часа два спустя. Занимался серый рассвет. Наиля спала, отвернувшись от него, сжавшись в комок, почти упираясь лбом в пупырчатую вымазанную известкой стену. Скирдюк смотрел на ключ, торчавший в дверной скважине. Подняться, одеться, потихоньку выйти и запереть ее снаружи... Ей — в утреннюю смену, она упомянула об этом вчера. Потому и просила не засиживаться, а затем все-таки... Эх, все

женщины одинаковы. Хотя... Эта уже в объятиях у него все будто еще боролась с собой. Как Галя всегда. Вот эти обе и впрямь одним миром мазаны. Надо же, чтоб такое совпадение...

Он оделся, взялся рукой за ключ, вытащил его из скважины. Наиля была неподвижна по-прежнему. Он знал, что снаружи окно прочно забито гвоздями. Вылезти она не сможет. Будет стучать, звать, пока обратят внимание, пока придут... Опоздание обеспечено, а за двадцать минут — под суд. Вряд ли простят ей подряд два проступка. Он уже знал (Наиля рассказала все же ему и об этом), что лампочки в ее сумке обнаружили. Какая-то внимательная работница заметила, когда Наиля переодевалась, провод, который Наиля, испугавшись и не понимая, как мог он оказаться вместе с лампочками в ее сумке, стала поспешно заталкивать обратно.

— А ну, девка, показывай, что ты там прячешь, — потребовала эта суровая женщина, у которой муж недавно погиб на войне, и сама вытащила связанные проводом лампочки.

Ее повели к начальнику лаборатории, где она начала работать недавно. Наиля была в ужасе. Она клялась, что понятия не имеет, как оказались эти лампочки в сумке. Купила их она еще год назад на толчке и держала про запас у себя в комнате на гвоздике, на стенке... Правда, в тот день она убиралась, помнит, стерла пыль с этих проклятых лампочек. Так, может, после этого она, сама не замечая как, сунула их в сумку? Сумка всегда стоит на табуретке, как раз под этими лампочками...

Благо, ни в лаборатории, ни на складе таких маломощных лампочек, как эти, не оказалось. Но важнее было то, что Наиля была способной лаборанткой. Начальнику, лысому, замученному работой доктору наук, не хотелось лишаться ее. Он покричал на Наилю, хлопнул слабой ладонью по столу, предупредил, что если повторится подобное, пощады ей не будет, и Наиля, сгорая от стыда и обиды еще более жгучей, потому что сама-то она знала, что не повинна ни в чем, а другие в это не верили, провожаемая насмешливым и презрительным взглядом бдительной солдатки, изобличившей ее, ушла в аппаратную.

— Бывает, — сказал Скирдюк, узнав наконец о том, что же произошло с Наилей, — мне вот раз сам начальник штаба дал закурить из своего портсигара, — непринужденно продолжал он, — а я, может, растерялся, что начальство со мной вот так запанибрата, а может, одурел на минуту, только засунул тот портсигар к себе в карман. Начальник показывает мне пальцем: обратно отдавай, а я и не пойму, в чем дело, чего это командиры вокруг регочут?..

Слава богу, она его ни в чем не заподозрила.

Однако теперь, если он запрёт Наилю у нее в доме, она поймет, конечно, что это он, подлец, и лампочки подложил ей в сумку тоже. Никто иной, как он. Стыдно... Ну да лад с ней. Больше им в жизни не встречаться. Однако он все стоял по-прежнему с ключом в руке и не уходил из каморки, где, свернувшись под одеялом калачиком, спала Наиля. Он думал снова о том, каким образом могла оказаться эта серенькая женщина на пути у пианиста Романа Богомольного. У человека, который принадлежит к совершенно иному миру, недоступному ей? Впрочем, теперь он уже не Роман и не Богомольный. Он — Назар Зурабов, уволенный по ранению младший лейтенант. Сам же признался, что документы он заполучил для себя.

И вновь оказался Скирдюк в неведении и тревоге. Мучило это сейчас его еще больше. Открыть тайну могла только Наиля. Она спала, дорожа, как привыкла, каждой минутой недолгого отдыха. Он еще раз взглянул на нее, вставил ключ обратно в скважину и вышел, стараясь не скрипнуть дверью.

День он провел как в тумане, отвесил Климкевичу овсяную крупу вместо риса, и повар, чувствуя, как неуверен нынче старшина, осмелел и ругнулся. Скирдюк не придавал этому значения. Он не уходил к себе, на квартиру, валялся на незастеленном топчане тут же, в кладовой, и к вечеру созрело решение: увести Ромку под любым предлогом на пустынную речную излучину и пристрелить. Он знал простой способ: если стрелять через карман шинели, прижав дуло нагана к боку противника, звук почти не будет слышен.

Да! Только так — и сразу избавление для всех, для Нельки — тоже. Ей-то за что страдать.

Однако лишний раз убедился старшина Скирдюк, что далеко не лыком шит пианист из ресторана «Фергана».

Убивать Скирдюку уже приходилось. Где-то под Ковелем, когда беспорядочно отступали, неистовый комиссар Рамазанов сколотил из бредущих в одиночку и группами по лесам и болотам военных, не считаясь с чинами, званиями и воинскими специальностями, подобие батальона, приказал занять оборону по топкому берегу речушки Турьи, остановил-таки ненадолго немцев, а затем дважды поднимал своих в отчаянные контратаки. Вот тогда-то, словно во сне, вскакивал вместе со всеми по хриплой команде Рамазанова и Скирдюк, бежал вперед, ничего не видя перед собой, замечая только, как падают и падают товарищи, утыкал штык

во что-то мягкое, податливое, стрелял в кого-то, чье лицо вспомнить потом не мог, сколько ни силился.

Теперь же он наперед знал, как выглядит тот, кого предстоит убить, видел, едва прикрывал глаза, раздражавшую усмешечку на холеном лице, и оказалось, что в этом случае убивать куда трудней...

На усеянный гладкими мелкими камнями берег стекающей с гор речки Роман пошел со Скирдюком не возражая, хотя и был зол из-за того, что Наиля по-прежнему на работе и арест ей не грозит. Скирдюк и не пытался обманывать Романа. Он уже усвоил, что «клятый одессит скрозь стену бачит». Чувствуя себя до крайности жалким и ничтожным, начал Скирдюк плести что-то об упрямстве Наили, о том, что, если бы он даже и запер ее в комнате, она, «скаженная», выбила бы стекла и через окошко вылезла бы, чтоб только попасть вовремя на смену.

— Так, так, — кисло заключил Роман, выслушав его, — тебя, мой друг преданный, я выручал с бóльшим энтуазизмом.

Он умышленно произнес неправильно: «с энтуазизмом», и Скирдюк все же ощутил издевку; он крепче сжал рукоятку нагана, который оттягивал ему карман. Роман шел медленно всего в двух шагах впереди и остановился так резко, что Скирдюк едва не натолкнулся на него.

— Одного младшего лейтенанта она не вспоминала? — спросил Роман. — Не его самого я имею в виду, а имя. Ты понимаешь, конечно, о ком я спрашиваю? Может, интересовалась, как в таких случаях, если возникло подозрение, поступают?

— Ни про что такое даже близко разговору не было, — ответил Скирдюк.

— А ты бы сам навел ее на этот разговор, как я тебя учил. Мне же важно: волнует ее или нет, что я под другим именем ей встретился.

«Какого беса я тебе подчиняться должен?» — хотелось спросить Скирдюку, но вместо этого он только вздохнул.

Вокруг было очень тихо. Обмелевший поток не шумел. Вода на ближнем перекате журчала почти неслышно. Коротко вскрикнул маневровый паровоз. На станции блуждали огоньки: ремонтники и смазчики бродили между составами, осматривая буксы. Ветер донес запах топочной гари, смешанной с ночной сыростью.

— Погодь, Рома, — хрипло выдавил из себя Скирдюк, — два слова скажу.

«Сейчас», — решился он и тут же ощутил на своем запястье сильные пальцы. Он и предположить не мог, что у пианиста такая железная хватка.

— Что это, Степа, с тобой? — вкрадчиво спросил Роман. — Палец на

курке держишь? Боишься? Так не бойся: мы же вдвоем.

Скирдюк забормотал что-то невразумительное, гоготнул по-дурному.

— Привычка у меня, Рома, такая. Был случай, прихватили меня сразу трое блатных в покоем на это месте. Чуть ушел живой. С того часа так и хожу, когда стемнеет. Оно спокойнее.

— Угу, — Роман резким движением вывернул ему ладонь, отобрал наган, взвесил его на руке, сунул обратно в кобуру, которая была пристегнута к ремню старшины, щелкнул кнопкой. — Тютя! Кого ты решил на ширмачка прихватить? — Он вдруг, как это водилось у него, приблизился к самому лицу Скирдюка, едва не касаясь его губами, и произнес тихо и внятно: — Меня беречь надо, понимаешь? Беречь, если сам дышать хочешь. И если хочешь, чтоб там, в Володарке, твои дышали. Учти: каждый шаг твой теперь известен.

— Кому? — глупо спросил Скирдюк.

— Господу богу. Считай, пока что — ему, — ответил хмыкнув Роман. И продолжил размеренно: — В ночь под Новый год (запомнить легко) я буду ждать тебя возле багажного склада в половине пятого, как раз, когда на рабочий поезд собираться начинают. Ты меня поздравить с 1943-им и сообщишь приятную новость: девчонка крепко спит.

— Не пойму я чего-то, Рома.

— Конечно. Сейчас ты стал туповат. У тебя только хватает ума, чтоб сообразить, где кусок сала плохо лежит. — Он прошептал прямо в ухо Скирдюку: — Возьмешь снотворного у своей медсестрички. Пусть не пожалеет для любимого. Порошков шесть, не меньше. Как хочешь, но заставь Нельку выпить: обманом, силой — как удастся. Пусть заснет крепче.

— Так она ж может и совсем?..

— Да, — жестко подтвердил Роман, — и моли бога, чтоб случилось именно так! Тогда делу конец. А иначе — мы все... Ты — в первую очередь. И жинка твоя с Миколкой твоим...

— Они ж далеко... — пытался возразить отвердевшими губами Скирдюк.

— Ничего. У бога рука длинная. И туда достанет.

— Неужто всё — через те документы Назаркины? Я так и чуял.

— Умнеешь.

— Рома! — он почти взмолился. — А потом — отпустишь?

— Кому ты нужен. Слизняк! — Роман брезгливо отер пальцы. — Иди, иди. И не оглядывайся. Я не заблужусь. И не испугаюсь один.



Он мог бы еще пожертвовать по крайности собой. Но этот «клятый» даже имя Миколкино знает! Скирдюк еще до войны слышал о жестоких законах, которые царят в среде валютчиков. Никем другим он Романа считать пока не желал, хотя понять не мог, что понадобилось темному дельцу здесь, в поселке? И каким образом может быть связана с долларами и николаевскими червонцами бедная Наиля?

«Ляд с ним» — Скирдюк махнул рукой. Новый год — хороший повод, чтоб провести с Наилей всю ночь. А ночь та — длинная. Худо только, что Зина Зурабова уже заручилась его согласием встречать Новый год у нее с ее друзьями. («Лучшие парни и девчонки в поселке. Ты сам убедишься»). Она хотела представить им Степана, своего жениха; не сомневалась, что все уже идет к этому. Скирдюк ей понравился сразу, к тому же и мать, Полина Григорьевна, и даже отец, ревниво относившийся к зининым поклонникам, кажется, благоволил к нему. «Голова у него на плечах есть, — одобрительно говаривал Мамед Гусейнович, — а самое главное — отвоевался уже».

В тот роковой день удача в делах сама пошла Скирдюку навстречу: сахар, который Алиев привез на бричке издалека, изрядно отсырел в долгом пути. Можно было сэкономить на выдаче килограмма три — выгода немалая, и Скирдюк вновь начал поневоле набрасывать несбыточные планы: сколотить бы потихоньку запасец продуктов, толкнуть их на черном рынке через барыг и рассчитаться с уже ненавистным Романом. Но сколько времени потребуется для этого? А самое главное — никаким золотом самой высокой пробы от Ромки не откупишься. Это он уже осознал.

Последними словами ругал он себя за нерешительность. «Надо было, не долго думая, пулю ему в бок, и точка! Так нет: ждал чего-то, дурень, и дождался, пока он, собака, почуял...»

Он сидел один, занавесив плотно окошко, и тут пришло решение, поразившее своей простотой: самого себя покарать надо, тогда сразу всему — конец.

Скирдюк положил наган около бутылки, которую открыл давно: однако водка не шла. Поднял наган и поднес к виску. Хмель нынче Скирдюка тоже не брал, и он поежился, ощутив прохладный упор ствола в пульсирующую жилку. Вспомнилось, командиры рассказывали как-то на маневрах за обедом про «дуэль с судьбой». Была когда-то у одичавших от тоски царских офицеров в Кушке такая смертельная забава, а может — и способ разрешения споров.

Через силу выпил Скирдюк еще полстакана, оставил в барабане два патрона, остальные высыпал на стол и они скатились в водочную лужицу. Потом, зажмурившись, быстро выцарапал еще один патрон, с

остервенением провернул несколько раз барабан и, по-прежнему не в силах открыть глаза, держа револьвер все же на некотором расстоянии от головы, нажал на спуск. Боек, ткнувшись в пустое гнездо, слабо щелкнул. Скирдюк уронил голову, свесил руки; правую оттягивал наган, готовый упасть на пол. Вдруг он вскрикнул сдавленно, как в кошмарном сне: звонко ударило и задребезжало над самым ухом. Он вскочил, затравленно озираясь.

Кто-то стучался в окно. Это была Тамара, девчонка-ремесленница из общежития напротив. Попросил он как-то ее, чтоб убралась у него в комнатухе, полы помыла, окно. Она и начала приходить раз-два в неделю. Платил ей то буханкой хлеба, то горстью конфет. Она отказывалась, но потом все же брала. Казалось, симпатизирует она ему, но когда однажды (выпил) попытался обнять ее, вскинулась, что твоя кошка; чуть всю физиономию ему не исцарапала. После этого долго не появлялась, пока сам он не позвал: «Не дуйся, Тома, заходи как-нибудь, а то у меня уже и табуретки до полу поприлипали». Пришла, навела порядок, поворчала на мужскую леность и неаккуратность. Выгребла сор, бутылки. Проветрила одеяло, подушки. Поужинали вместе, но он не посмел прикоснуться к ней. И вот теперь, когда он на грани, почуяла сердцем, прибежала.

— Степан Онуфриевич! Что это с вами? — спрашивала в форточку Тамара.

— Гуляй, Тома, гуляй, — бросил ей, не приподнимаясь, Скирдюк.

— Откройте, Степан Онуфриевич, хоть на минуточку, — не отступала она, — сказать что-то надо.

Он посмотрел на наган в своей руке и вдруг понял, что ему страшно оставаться снова наедине с ним.

В новогодний вечер Наиля возвращалась со смены около одиннадцати. Скирдюк загодя пришел к баракам. В бумажнике у него было спрятано шесть белых порошков. Надя вынесла ему их со всхлипываниями. «Я умоляю тебя, принимай по одному, не больше...» «Не мне это, — оборвал ее Скирдюк, — знакомый один просит, безногий. Спать не может по ночам, а доктора гулять его заставляют перед сном. На одной ноге...»

Скирдюк бродил вокруг темного осевшего здания, топая ногами по земле, уже затвердевшей от морозца и присыпанной редким снежком. Он беспрестанно курил и прятался за деревьями, хотя ничего предосудительного в том, что человек пришел к своей знакомой, не было. Да и поздний час под Новый год не в счет.

Наиля не появлялась, и это усугубляло беспокойство Скирдюка. Он решил твердо, что нынче усыпит ее. «Ничего страшного с ней не станет, —

успокаивал он себя. — Ну, проспит сутки, а может — больше. В общем, прогул ей обеспечен. За это, конечно, суд, ну, пострадает, конечно, ни за что, зато Ромка отцепится, век бы его не видать!»

Холод пробирал Скирдюка. Он достал четвертинку, зашел за угол и хлебнул из горлышка. Бутылку спрятал в карман, но потом еще несколько раз прикладывался к ней, потому что Наиля все не шла. Мучило и воспоминание о том, что его ждут в большом доме Зурабовых, где давно накрыт стол и Зинка, наверное, извелась, прислушиваясь к каждому шагу в переулке. Когда стрелки на светящемся циферблате сошлись на двенадцати, старшина Скирдюк допил четвертинку, закусил куском колбасы и подумал, что в феврале ему исполнится двадцать восемь. Исполнится ли?..

Светилось окно у Клавы Суконщиковой. То ли встречала Новый год с кем-то из ненадежных дружков, а скорее всего — капризничал Витька. Скирдюк совсем продрог, невзирая на то, что выпил изрядно. Он уже подумывал, не попроситься ли на полчаса к Клаве в квартиру — погреться у печки, когда в конце переулкa послышались высокие голоса. Женщины, невидимые в темноте, приближались сюда. Наиля подошла к своей двери и вставила в скважину ключ. Он подождал, пока она зажжет свет. Гибкая тень скользнула по занавеске. Он осторожно постучался в стекло.

Она обрадовалась ему, впервые за все время их недолгого знакомства. Словно не чувствуя усталости после работы, присев на корточки, она быстро наколола щепки, бросила их в топку, зажгла, положила поверх кучу углей, и вскоре конфорки на чугунной плите заалели. Отогревшись, Скирдюк почувствовал, что выпил он, оказывается, изрядно, пока дожидался Наилю на улице. Он болтал без умолку, похвалялся силой и отвагой. «Да я ж того одесского пижона как ту самую гниду...»

— Про кого это ты, Степан? — спросила, скосив на него блестящие в отсвете пламени глаза, Наиля.

Он спохватился все-таки:

— Так... Фраерок тут один ко мне по дороге прицепился. Ты на это внимания не обращай, — он попытался привлечь к себе Наилю, но она выскользнула и попросила:

— Больше не пей, Степан. Не надо, понимаешь? Мне даже страшно становится.

Он упрямылся.

— Как это — не выпить? Под Новый год — всухую? Не-е... Мы с тобой, Нелечка, оба-два — души неприкаянные. Сам господь повелел нам,

чтобы одна к другой тянулись, значит. Чтоб вместе то есть. Ты и я, — и он запел пронзительно, хотя и чистым голосом куплеты, подхваченные все в том же ресторане «Фергана»:

Налей же рюмку, Роза,  
Мне с мороза,  
Ведь за столом сегодня —  
Ты да я...

— Не надо, Степан, — просила Наиля, — у нас тут в бараках никто не гуляет сейчас. Спят уже все. Новый год — давно.

— Как это? — трезвея, Скирдюк вглядывался в циферблат. Он помрачнел. — Обидела ты меня сегодня, Нелька, — сказал он, — в самую душу мне наплевала. Я с открытым сердцем, а ты... Эх... Добре, — решительно произнес он, — не хочешь гулять — неволить не стану. Водички принеси свеженькой. Обмоюсь да пойду себе.

— Сейчас, Степан. Ты только не обижайся, ладно?

Она сунула ноги в галоши и выбежала на улицу к колонке. Не колеблясь больше, налил он в ее кружку легкое вино (бутылка, едва початая, стояла на подоконнике еще с его предыдущего визита) и высыпал все шесть порошков. «Нехай только выпьет, а там уже и идти можно будет. Зинке наплету про дежурство по штабу. Не поверит — ее дело. Главное, чтоб Ромка отцепился, а там — трава не расти».

Наиля наполнила умывальник. Скирдюк снял китель, рубашку, начал плескать ледяной водой на лицо, на грудь. Стало и впрямь легче.

— Мучить тебя, Неля, не буду, — сказал он, — только и ты меня не обижай. Нельзя так с человеком... Выпьем по одной да я и пойду себе.

— А если комендатура? — спросила, потупившись, Наиля. Теперь ей хотелось, чтоб он остался.

Скирдюк беспечно махнул рукой.

— Охота им под Новый год по улицам шастать. Сами уже давненько завалились куда-то. Давай, Нелечка. Поехали.

Вздохнув, она поднесла кружку к губам, но ему показалось, что пьет она медленно. Словно балуясь, подошел он к ней сзади, левой рукой крепко обнял, а правой поддержал кружку за доньшко. Но был он все же пьян и переусердствовал: кружка наклонилась и жидкость выплеснулась на платье Наиле и на пол. Она вскочила, рассердившись, потребовала, чтоб он отвернулся, выдвинула из-под кровати чемодан, достала единственное свое

нарядное платье, летнее, в цветах, и начала переодеваться.

«Выходит, такая доля ее, — по-пьяному печально усмехнувшись, суеверно заключил Скирдюк. — Нехай гуляе живая-здоровая». Он уже надел шинель.

— Я пойду.

Она молчала.

— А может ляжем? — спросил он нарочито грубо, и это окончательно рассердило Наилю.

— Все время только про одно говоришь. Думаешь, один раз было, теперь всегда так? Я не сумасшедшая, между прочим. Все вижу, знаю. У тебя интересная, богатая есть. Мне сказали.

Он усмехнулся.

— Когда б так, зачем бы я к тебе сегодня пришел? Ждал тебя три часа на морозе, замерз, как тот цуцик.

Это показалось ей убедительным.

— Сядь, Степан, на минутку, — попросила она, — что-то сказать хочу. Больше поговорить ни с кем не могу про это. Пьяный ты, конечно. Ладно. Все равно.

— Говори, — потребовал он в нетерпении, — что?

— Шатаешься даже. Нет. Ложись лучше, поспи. Я к Клавде уйду. Утром говорить будем.

— Нет, давай сейчас, — и вновь он повел себя чрезмерно настойчиво.

Наиля взглянула на него с опаской.

— Зинка твоя меня при всех позорила, — сказала она, отворачиваясь, — а я чем виновата? Что я тебя — приваживала? Скажи.

Он выдохнул разочарованно:

— Бабские дела. Наплюй. Что ж, когда с девкой раз погулял, значит и женись? Не-е... Выбрать надо, чтоб по душе, как ты. Может, дашь ключа? Я с делами справлюсь, сам открою раненько и до тебя, под бочок.

Она снова нахмурилась.

— Иди, отдыхай.

— Веселенький Новый год у нас получился.

— У всех такой. Война.

— Хоть поцелуемся.

Наиля подошла и сама обняла его на пороге.

— Страшно мне, Степан, — она на миг все же прильнула к нему, — все время кажется, ходит, следит за мной, прямо шаг ступить не дает...

— Кто, кто?

Но он уже и сам догадался.

Он побрел к дому Зурабовых, сам не понимая зачем. Наверное, потому, что так было решено изначально. В сравнении с карой, которая грозила не только ему, но и Гале с Миколкой, нынешняя обида Зины и впрямь была пустяком. Лишь свернув в знакомый тупичок, присыпанный свежим снежком, на котором четко отпечатывались следы его сапог, догадался Скирдюк, что влечет его сюда: последняя надежда, опять — Мамед Гусейнович.

Именно он, а не Зина (она, заплаканная, злая, убежала к себе), открыл дверь Скирдюку.

— Ну, — сердито спросил он, раздувая заросшие черными волосами ноздри, — зачем стоишь? Раз пришел — заходи уже.

Скирдюк (он выпил еще и по пути) пьяненько ухмылялся:

— Поставили дежурить по командирской столовой, там же гуляли сегодня.

— Набрался ты тоже, я вижу, в этой столовой! Мог бы совсем не приходить. Не нуждаемся.

— Ну что ж, когда так. Выходит, надо мне поворачивать оглобли. Конечно, поговорить с вами хотелось опять же...

— Со мной говорить не надо! Ты бы перед Зиной извинился лучше, если ты такой культурный стал. А то она ждет, ждет его, а он под утро приходит и еще пьяный. Давайте Новый год теперь встречать! Да?

— Аа-а... Значит, с Новым счастьем вас, дорогой Мамед Гусейнович. И супругу, конечно, и Зиночку,

— Можешь и сам ей это сказать. Ты слышал: заходи в дом, говорят тебе! — свирепо крикнул Мамед Гусейнович.

На столе в полумраке тускло поблескивали бутылки с темным вином, горкой возвышался на блюде салат: селедка под «шубой» из свеклы и огурчиков, политых обильно сметаной, была нетронута.

Скирдюк присел и увидел прямо перед собой на высоком буфете часы. Была половина третьего. Похмельное безразличие властно пронзила мысль: Ромка будет ждать у товарного склада.

Сердито сопя, Зурабов наполнил три бокала.

— Доча! Ходи сюда, родная, — позвал он как-то жалобно, по-бабьи.

Не сразу появилась Зина. Нос и губы у нее припухли более обычного, но на лице застыло деланное безразличие.

— Ты не серчай только, Зинок, — произнес заплетающимся языком Скирдюк, — я там с командирским ужином завозился.

— Они, командиры твои, случайно по-татарски не разговаривают? —

спросила Зина, храня все то же невозмутимое выражение.

— Ты что это, Зинок? Ну, ей-богу. Когда только поспевают бабы плести!

— Ладно, — прервал Мамед Гусейнович, — раз уже сидишь с нами — выпьем.

— Ну что, Степа, с Новым годом? — Зина обняла пальцами тонкую ножку бокала.

— А мамаша что ж? — спросил Скирдюк.

— Она тебе мамаша, как я — папаша. Пей! — Зурабов хмыкнул.

— С Новым годом вас всех, — Скирдюк поднялся, пошатнувшись.

— С наступившим, — холодно откликнулась Зина.

— За здоровье общее, значит, и чтоб победа скорей была.

— Ты за нее особенно сильно стараешься, — Мамед Гусейнович крикнул и отправил в рот изрядный кусок холодца.

— Не хуже прочих! — резко бросил Скирдюк. — Хоть единого фрица, да все ж прибил, наверное. Когда б каждый так, война бы кончилась уже.

— На что намекаешь? — Зурабов жевал колбасу. Желваки ходили на его смуглых скулах. — Мне пятьдесят один год.

— Папа, Степа! Сегодня же праздник все-таки. — Зина вскочила, забежала Мамеду Гусейновичу за спину, обняла его. Он примирительно похлопал пальцами по ее руке.

Скирдюк в какой-то миг пожалел о своей дерзости, но тут же решил с пьяной упрямой беспечностью: «Ну и хрен с ним, со всем!».

— Папуля, — сказала Зина, — я у Степана кое-что спросить хочу.

— Пусть будет так, — Зурабов тяжело поднялся и хлопнул ладонями по столу.

Скирдюк, как ни был пьян, все же вздрогнул: «Чи не дозналась, что я те документы взял?»

— Так где же ты все-таки задержался, Степа? — Зина смотрела сквозь него.

— Я же сказал и папаше, и тебе: дежурил, — у него отлегло от сердца.

— Ах, Степа, Степочка...

В голосе ее звучали и сомнение, и жалость. Он уловил это и прильнул к ее теплему плечу.

— Погано мне, Зинка. Ой, как погано. Запутался — дальше некуда.

— Опять не достача? Ну ладно, не переживай так сильно. Я с папкой поговорю. Он добрый. Только с виду такой строгий. Кавказская натура.

— Боюсь, не поможет тут никакой твой папка, Зинок. Наливай.

— Хватит тебе, наверное.

— Не-е... Тут, тут горит все, — Скирдюк стукнул кулаком в грудь.

Он выпил, уронил голову на руки, сперва еще поддерживал ее ладонями, но вскоре лег щекой на скатерть. Зина не тревожила его. Сидела рядом, перебирая пальцами волосы Скирдюка. Видно было, что он борется с тяжким хмельным сном. То и дело поднимал он тяжелый взгляд на часы, на миг в его покрасневших глазах мелькала тревога, но тут же он впадал в забытие вновь. Ненадолго. Снова начинал возить лицом по скатерти, бормотал непонятное, вскрикивал сдавленно, будто чьи-то сильные пальцы сжимали ему горло:

— Ну и ...с ним! Катился бы он ко всем... Не пойду никуда! Нет...

Зина терпела непристойности, которыми перемежалась больная речь Скирдюка, однако, как она и предвидела, на пороге спальни появился Мамед Гусейнович.

— Ты почему безобразничаешь? — спросил он гневно. — Мой дом тебе пивная, да?

— Не надо, папа, — жалобно попросила Зина, — он же не понимает сейчас ничего.

— Зато ты хорошо понимаешь! — еще раздраженной вскричал Мамед Гусейнович. — Это же надо: моя дочка сидит, слушает такую грязь! А ну, марш к себе в комнату.

— Он же упадет где-то по дороге, папа.

— Никто его пока не выгоняет. Мы, слава богу, люди. Пусть ляжет на кушетку, спит себе.

Скирдюк поднялся. Он смотрел не на Мамеда Гусейновича, а на часы. Взгляд его был по-прежнему мутен, но произнес он решительно:

— Не останусь я. Пойду. Извиняйте, когда что не так.

Зина подбежала и взяла его под руку.

— Степа!

— Тебе что было сказано? — накинулся на нее Мамед Гусейнович.

Скирдюк вдруг поклонился, покачнувшись, в пояс.

— Прощайте, — произнес он глухо и вышел.

Начинался четвертый час первого дня 1943-го года.

Небо над невидимыми горами было еще не тронута синевой. Скирдюк прихрамывал более обычного. Он шел к станции, и путь его мог лежать через Набережный поселок, где жила Наиля Гатиуллина. И, снедаемый желанием вывести на чистую воду неверного жениха своей любимой дочери, следовал за ним Мамед Гусейнович Зурабов. Он не знал, в каком именно бараке проживает жалкая соперница, из-за которой тем не менее



пролила нынче столько слез его Зина, однако не сомневался, что Скирдюк направляется к ней, и был удивлен, когда, миновав глиняный поселок, старшина, еще более замедлив неровный шаг, словно нехотя, повернул направо — вдоль насыпи к станции.

И в первый день Нового года утренний поезд должен был отправиться в Ташкент как обычно в половине пятого. В небольшом, едва ли шире обычной жилой комнаты, станционном зале сидели на двух скамьях спинами друг к другу мужчины и женщины в телогрейках, в грубой обуви. Почти все они дремали, используя минуты ожидания для отдыха перед трудным днем, хотя слышно было, кое-кто и переговаривался негромко. Обсуждали последние вести с фронтов и радовались, что немцев бьют теперь повсюду. Кто-то внушал своему товарищу:

— В инструментальный зайдешь, спросишь Мирагзамова. Запомни: Мир-аг-за-мов. Скажи, что у тебя шестой разряд. Он тебя сразу на самостоятельную работу поставит. Значит, Мирагзамов.

В выстуженном зале царил кислый запах карболки, отсыревшей известки, махорочного дыма, хотя никто здесь не курил, опасаясь милиционера, который то ходил вдоль колеи, то заглядывал в зал. Большинство пассажиров топталось на перроне, тоскливо вглядываясь в темноту, где одиноко светился красный глаз светофора, перечеркнутый реденькими нитями лениво сыплющегося снежка.

Роман стоял поодаль, прижавшись к глухой стене склада. Там же, где и в прошлый раз. Он молчал, хотя и видел Скирдюка.

— С Новым годом, так сказать, Рома, — произнес, упираясь ладонью в холодный кирпич, Скирдюк.

— Ты, я вижу, хорошо его начал, — откликнулся Роман, глядя куда-то в глухое небо над станцией. — Ну, что скажешь?

— Выпила, — Скирдюк облизал сухие губы и поклялся: — Ей-богу! Все...

— Усе, — передразнил Роман украинское произношение Скирдюка и сжал его плечо. — Пошли тогда проведем девочку. Время до поезда еще есть.

— Какая такая нужда? — Скирдюк еще пытался возражать. — И потом — соседи увидеть могут.

— Что увидят они? К вольной бабенке два мужика завернули. Да и дрыхнут все, наверное.

Роман шел впереди, находя дорогу так уверенно, будто провел здесь всю жизнь. Скирдюк едва поспевал за ним. Дыхание близкой беды

коснулось его. Он стал почти трезв.

Миновав овраг, они поднялись к поселку. Не доходя до барака, Роман повернулся к Скирдюку:

— Шагай, а я посмотрю, что там дальше будет.

— А ежели она закрылась?

Роман просвистел в самое ухо ему:

— Вот ты, сучка, и проболтался! Она что же — воскресла, чтоб дверь за тобой запереть?

— Кто его знает? Оно ж действует не тут же, — бормотал Скирдюк.

— Пошел вперед, слякоть! — Роман ткнул его в бок. — Или я — сам... Только начну все-таки не с нее, а с тебя.

Спотыкаясь, Скирдюк заспешил к двери.

Наиля ждала его.

...Старшина Скирдюк откинулся, прислонившись затылком к стене. Он прикрыл глаза. Веки у него вздрагивали.

— Что дальше было — говорить тяжело, — произнес он прерывисто. Ему не доставало дыхания. Даже Гарамов проникся на миг сочувствием и подал старшине стакан с водой. Зубы у Скирдюка стучали о край стакана, вода расплескивалась.

— Спирт найдется? — спросил Демин.

Гарамов взглянул на него в явном изумлении.

— Есть немного, товарищ полковник.

— Налейте ему.

— Не-е, — Скирдюк отрицательно помотал головой. Однако спирт взял, опрокинул решительно в рот и долго не открывал глаза, зажмурившись. Не сразу поднял он тяжелый взгляд и остановил его на Коробове.

— Дальше, гражданин капитан, наверное, получше меня уже знают. Когда бы не знали они уже всего — обманывать не буду, — я б и сам про другое не рассказал вам. — Он помолчал и добавил: — Ежели б я думал, как раньше, что Ромка тот клятый — просто себе валютчик или барыга какой. А он выходит — вражина, да еще какая.

Спирт, видимо, подействовал, однако не так, как ожидал Демин. Скирдюк вдруг свалился с табурета на колени.

— Прошу вас, люди добрые, застрелите, как собаку, только чтоб дома не знали! Кругом виноватый, кругом. Нема мне пощады.

— Встать, Скирдюк! — велел Демин. — Мы — не трибунал. Суд решит, как наказать вас. А нас теперь другое интересует. Как была убита

Гатиуллина?

— Не могу я про это, не могу...

— Помогите ему, товарищ капитан, — разрешил Демин.

Сейчас, когда следствие завершилось, Коробов и сам чувствовал, что натянут как струна.

— Скирдюк, — начал он, подавляя волнение, — вы вошли, как уже рассказывали, один.

— Так, — Скирдюк обреченно кивнул.

— Вы достали наган.

— Не-е... Наган я держал в кармане. Хотел стрелять через шинель, чтоб она не заметила. Она подошла, обняла. А я опять не смог выстрелить.

— И тогда вошел, будем называть его так, Роман Богомольный.

— Так.

— И выстрелил из своего оружия в Гатиуллину.

Скирдюк откинул голову так резко, что ударился затылком о стену.

— Нет, не так, — произнес он тихо. — Он в меня сперва метил. Оно и лучше было б, только она... Она на него кинулась и, выходит, что меня собой закрыла. Своим телом значит...

Все трое приподнялись.

— От так! — вскричал Скирдюк. — Видите, я какая падла? Порешить хотел женщину, а она же жизни своей за меня не пожалела! Ухватилась, сердешная, за плечо, я ее поддержал левой рукой, а правой наган достал и — в него, в собаку... Только не попал: Неля на руке так и висела. Пуля моя в дверь ударила, справа от него. А он еще раз жажнул. В меня хотел, конечно, а попал опять в нее. Она вот так, всеми пальцами рану закрывала. Тогда он выскочил. Когда ключ вытащить успел, я и не заметил. Только слышу, повернулся ключ в замке, и дверь, значит, он закрыл с улицы. Мне бы сразу — дверь выбить и за ним, догонять, только я надеялся, Неля еще живая. Понес ее на койку, а она уже и не дышит.



— Почему же вы не подпускали никого к бараку? — спросил Демин.

— Растерялся я сильно, гражданин полковник. Себя не помнил. Все казалось, Неля поднимется. Как сон все равно... — он ерошил волосы так, что казалось, вот-вот рвать их начнёт.

— Пусть отдохнет, — распорядился Демин и вызвал конвой.

И вновь отправился Коробов к начальнику лаборатории. Он был уже

знаком с этим человеком, желтоватый цвет лица которого Коробов отнес за счет дурного влияния химических испарений. Теперь он понял, что человек этот попросту предельно устал. Смены менялись, а он, как выяснилось, зачастую и ночевал в лаборатории на топчане. О Наиле Гатиуллиной начальник отзывался наилучшим образом. Он даже не упомянул при первой беседе о неприятном случае с лампочками, найденными в ее сумке, и Коробов сейчас упрекнул его за это.

— Постарайтесь не упускать ни единой подробности, — попросил он, — ни хорошего, ни плохого.

Начальник, впрочем, без труда вспомнил, что совсем недавно, буквально на днях явился к нему младший лейтенант, он даже фамилию его хорошо запомнил — Зурабов и предъявил обычные документы военного представителя. Начальник поинтересовался, нет ли у младшего лейтенанта родичей в городе (фамилия Зурабов была у него на слуху), но младший лейтенант усмехнулся и сказал, что на Кавказе Зурабовых тысяч десять, не меньше.

— С фамилией мне не очень повезло, — заметил в шутку младший лейтенант, показавшийся начальнику лаборатории человеком симпатичным и интеллигентным.

Младший лейтенант должен был получить в лаборатории сведения для головного военного института о результатах давно начатых опытов. Работы эти в лаборатории затянулись и были закончены буквально вчера.

— Нет худа без добра, — заметил по этому поводу младший лейтенант. — Представляю, как вас все время теребило начальство! А мне, если бы я вовремя прибыл, наверное, пришлось бы жениться здесь. Девчонки у вас, правда, неплохие, как я погляжу.

— Вы еще не всех видели, — в тон ему ответил начальник лаборатории. Он словно чувствовал себя перед этим самоуверенным молодым представителем центра виноватым в том, что так замедлились опыты.

— Похоже, вы даже обрадовались тому, что этот Зурабов так опоздал со своим визитом? — спросил Коробов.

Самсон Рафаилович (Коробов не сразу запомнил это непривычное имя-отчество) опустил глаза.

— У нас, товарищ капитан, не одна-единственная тема, — ответил он тихо, с достоинством, — и все — оборонные, и все — срочные. Штат по сравнению с довоенным урезан наполовину. Пришлось привлечь в качестве лаборантов мало-мальски толковых девчонок из цехов. Работали в три смены. Я вообще не выходил отсюда. Вон, видите, мой топчан? Но наука —

дело строгое. С желаниями нашими считаться она не желает. Замочки свои открывает неохотно.

Коробов кивнул согласно, взглянув еще раз на желтые веки Самсона Рафаиловича.

— На чем же вы расстались с Зурабовым? — спросил он нетерпеливо, потому что это больше всего заботило его сейчас. — Получил он у вас какие-то сведения?

Краска поднялась по широкой морщинистой шее Самсона Рафаиловича и постепенно залила все его лицо и даже лысину.

— Что вы! — все так же негромко возразил он. — Разве я не понимаю, как следует в подобных случаях вести себя? Правда, я человек сугубо штатский, должность эту я занял только прошлой осенью, как раз в связи с изучаемой проблемой (до этого я двадцать два года проработал в университете, на кафедре неорганической химии). Но меня же неоднократно инструктировали и, кроме того, — сама логика вещей подсказывает...

— Самсон Рафаилович, — Коробов вынужден был прервать его, — ответьте, пожалуйста, коротко и ясно: передали вы ему результаты ваших исследований или нет?

— Нет, нет! Что вы...

— С чем же и почему в таком случае он ушел? Я чувствую, вы чего-то не договариваете.

Самсон Рафаилович поднялся и выглянул за дверь своей выгородки. В лаборатории десятка полтора сотрудников, главным образом — женщины ворожили над тиглями, толкли что-то в ступках, записывали показания приборов у муфельных печей и автоклавов.

— Скажу, ничего не скрывая, — начал почти шепотом Самсон Рафаилович. — Да, вы правы: я сперва доверился этому младшему лейтенанту. Приятный молодой человек. Напомнил он мне одного из моих аспирантов. Мне, к тому же, звонили перед его приходом.

— Откуда?

— Руководство, конечно. А что, могло быть иначе? — встревоженно спросил он.

— Тот, кто звонил, представился?

— Нет. Но я все время забываю, что по инструкции это требуется.

— Вы узнали по голосу того, кто звонил?

Самсон Рафаилович ответил не сразу.

— Мое упущение, — признался он. — Я решил, что это — один из новых товарищей.

— Но вы хоть попытались как-то косвенно выяснить, он ли это в действительности?

— Я как-то не решился. Он говорил так уверенно: к вам, мол, придет такой-то. Действуйте на основании предъявленных им полномочий и постарайтесь не тянуть долго: представитель и без того задержался по независящим от него причинам. Это теперь, когда вы, товарищ капитан, здесь, я все в каком-то новом, истинном свете увидел. Боже мой! Какая ужасная вещь могла произойти! Какое счастье, что этого не случилось.

— Покороче, пожалуйста, — вновь напомнил Коробов и тут же пожалел, потому что начальник лаборатории упомянул снова имя Наили Гатиуллиной. Он уже рассказывал о ней по просьбе Коробова, но все — теми стертыми фразами, которыми излагаются производственные характеристики. Теперь же он вспомнил о более важном:

— Бедная девчонка. Хрупкая такая, но трудилась она за двоих; я так сожалел, когда ее вдруг убил какой-то, говорят — любовник или сумасшедший. По-человечески сожалел, разумеется...

Я продолжаю, продолжаю. Так вот, этот самый Зурабов ждал меня в коридоре. Но только мы начали с ним говорить о главном — о наших результатах, меня вдруг вызвали к руководству. Дело было не очень важное: хотели перебросить нам смежную тему, я, конечно, отказывался и разговор затянулся, а когда я вернулся к себе, может, через час, то увидел, что эта девочка (в руках у нее была фляга с фракцией) идет по коридору и вдруг останавливается так, как если бы она на стенку наткнулась. И останавливается именно около этого младшего лейтенанта, который стоял спиной ко мне. Я даже испугался, не уронит ли она флягу. Кинулся к ней на помощь и потому услышал, как она повторяет, будто в трансе каком-то: «Роберт! Это же ты — Роберт? Откуда ты взялся здесь?»

Как звали его по документам, я забыл, но точно помнил, что имя было какое-то совсем обычное. Не Роберт во всяком случае. Это — точно. Так вот, я вижу, что этот младший лейтенант как-то сжался весь. Тут еще и я подошел, и он тогда начал уверять эту молодую женщину с какой-то излишней горячностью (так, вы знаете, бывает, когда лгут), что она принимает его за другого, что ему не раз приходилось попадать в неловкую ситуацию из-за этого проклятого сходства с кем-то...

Она отошла, но все оглядывалась и пожимала плечами.

Не буду опять скрывать от вас: я решил, что тут — какие-то амуры, до которых мне дела нет. Бывает же нередко, что всякие там селадоны называют себя при знакомстве с очередной жертвой чужим именем, тем более — таким, как Роберт. И все-таки, верьте не верьте, меня это

насторожило. Я велел младшему лейтенанту, чтобы он подождал еще минуту в коридоре, хотя он напомнил мне, что страшно спешит, и все-таки позвонил в спецчасть, просил, чтобы у него еще раз проверили документы. Коммутатор долго не соединял меня, а потом, когда я выглянул в коридор, младшего лейтенанта уже не было.

— Кто же ему подписал пропуск?

— Не знаю.

— Вы сообщили об этом в спецчасть?

Вот теперь Самсон Рафаилович окончательно уронил голову.

— Вы понимаете: сколько дел, сколько забот...

— Подпись вашу он мог где-нибудь увидеть?

— Нет, нет. Хотя... В коридоре под стеклом — противопожарная инструкция!.. — Самсон Рафаилович был в отчаянии. — Как я мог так прошляпить? Бить меня за это надо. Бить.

Он сокрушался так искренне, что Коробов вынужден был сказать:

— Что толку, Самсон Рафаилович, теперь убиваться? Другое требуется от вас.

— Да! Говорите, пожалуйста, товарищ капитан. Я все сделаю. Можете не сомневаться.

— Вы получите от меня указания, как вести себя с ним.

— А вы уверены, что он придет еще?

— Вот к этому и надо готовиться.

— Не сомневайтесь, теперь я его не упущу, — Самсон Рафаилович грозно потряс маленьким кулаком.

— Вот этого как раз и не нужно. Вы встретите и примете младшего лейтенанта Зурабова как ни в чем не бывало. Чтоб он и малейшего подозрения не почувствовал. Вы поняли?

— А если он потребует документацию?

— Дадите! В запечатанном пакете. Вам придется, несмотря на всю вашу занятость, потрудиться еще пару ночей. Вы поняли меня?

И поднявшись за столом, сугубо штатский человек ответил:

— Слушаюсь.

Не без причин полагала фашистская разведка, что советская наука располагает новейшими достижениями в области термохимии, устанавливающей зависимость между теплотой реакции и строением молекул тех веществ, которые участвуют в химическом процессе. Германия, имевшая, впрочем, основания едва ли не кичиться своей химией, по-прежнему, как и в первую мировую войну, начинала тротилом даже



ракетные снаряды. Фашистам позарез нужна была горючая смесь, такая же как у «катюш», один залп которых опустошал добрый квадратный километр укрепленной зоны, сжигая и «тигры», и «пантеры», словно спичечные коробки. Именно это, а не престиж заставлял немецкую разведку вновь и вновь предпринимать попытки овладеть секретами термохимии, уже известными советским ученым и технологам.

Роберт (никто уже не сомневался в том, что это и есть подлинное его имя) действовал давно и хитро. Он умело запутывал следы, а главное, оставался неизменно в тени. Тут же было поднято дело об ограблении прошлой осенью квартиры видного ленинградского ученого, специалиста по термохимии. Профессор этот находился в длительной командировке в Узбекистане и участвовал в составлении важных технологических расчетов, благодаря которым и определялся оптимальный состав различных горючих смесей.

Вор по кличке Почтарь, а по фамилии Гушин — рецидивист, который, как он сказал о себе, «эвакуировался» из захваченного немцами Ростова в Ташкент, будучи задержанным, покался сразу же, как только узнал, на какое подлое дело толкнул его Седой. Так назвал себя человек, с которым играли две ночи подряд в карты на квартире у какой-то тети Доры. Люди там менялись, мелькали лица за столом, пары, жавшиеся по углам, а Седой появлялся неизменно, как только банк возрастал. Почтарю тогда везло на диво. Он у Седого снял «три косых». Проспались и пили утром кофе. Почтарь тоже удостоился такой чести. Оставались только вдвоем с Седым. Почтарю стало весело. Седой тоже не горевал. Сыпал прибаутками и анекдотами.

— Судьба хмурых не уважает, — снисходительно одобрил Почтарь, — пофартит когда-нибудь и тебе.

— А что я проиграл? — спросил Седой и вдруг хмыкнул. Он вытащил из кармана не глядя то ли тридцатку, то ли сотенную, зажег ее о догоравшую свечу и прикурил. — Вот настоящие деньги, если хочешь их видеть! — и Седой поиграл царской золотой монеткой. — При всех режимах держится курс. Доходит?..

Почтарю очень хотелось получить хоть пару монет, но Седой сказал, что на бумажки золото не меняет. Сам же убедился сейчас Почтарь: бумага горит. Почтарь спросил, как же добыть золото и себе, и тогда Седой пообещал навести его на одно верное дело. И навел. Сознался, что он «мужик», то есть на воровском жаргоне — темный делец, и вот один сообщник его «ссучился». Хочет передать прокурору документы, подделанные Седым. За это в военное время — вышка, никак не меньше.

Выкрадет Почтарь портфель — получит пять червонцев.

И Почтарь забрался ночью в квартиру «к тому фраеру» и вытащил портфель.

Как писал перепуганный профессор в своем заявлении, в документах, к счастью, не содержалось ничего секретного. Это были общетеоретические выкладки, которые он, правда, намеревался использовать в своей работе, однако при желании и терпении толковый ученый может составить их за неделю. Самые важные бумаги профессор, как и полагалось, хранил в сейфах спецчасти. Роберт рассчитывал на пресловутую профессорскую рассеянность, но ошибся.

В том, что Седой, Роман Богомольный и Роберт — одна личность, Коробов теперь не сомневался. Допросили всё же вновь Почтаря-Гущина, который отбывал свой долгий срок неподалеку. По описанию Почтаря (требовалось умение, чтобы разобраться в его речи: «хавало у Седого нежлобское», «на пианине законно бряцал»...) получалось, что от Романа Богомольного Седого отличала лишь белая прядь, ниспадающая к виску, и рыжеватые усики. Но это мог быть и нехитрый, маскарадный прием, такой же, как частая смена костюмов. И, как ни хитер был вражеский агент, но все же наследил; давно уже занималась им смежная группа. Совсем недавно на оперативном совещании у Демина руководитель ее, пожилой майор, насупившись докладывал, что агент пока не обнаружен.

Да, Роберт действовал осторожно и искусно. Он настойчиво искал человека, которого можно завербовать. В его распоряжении был подкуп, шантаж, а если речь шла о женщинах — мужское обаяние. Не исключено, что и Наиля Гатиуллина была как-то связана с ним. Но откуда в таком случае стало известно ей подлинное имя агента? Да и он сам — понаторелый разведчик, не совершил бы подобной глупости: появиться там, где хоть один человек может узнать его под чужим именем — младшего лейтенанта Зурабова? Нет, когда речь о Наиле, за этим скрывается что-то иное.

Важней, однако, был вывод, который можно было сделать уже сейчас. Предателей он не нашел. Вербовка не удалась. Это ясно хотя бы по тому, что личное проникновение на объект — самый рискованный и, следовательно, — последний шаг шпиона. Он настойчиво искал пути к осуществлению этого шага, и прежде всего ему необходимы были документы не фальшивые (хотя многие бумаги отлично изготовлялись в Германии), а подлинные, чтобы свести риск к минимуму. И тут судьба, которая бывает порой к врагу благосклонна, послала ему вороватого и болтливого старшину Скирдюка с его историей о военпреде Назаре

Зурабове, умершем в ташкентском госпитале. Роберт тут же создал новый вариант, толкнул Скирдюка на преступление, дал ему золото (выручил по-дружески из беды, как верилось Скирдюку) и прочно связал его с собой.

Так велика была зависимость от Романа-Роберта, что даже после убийства Наили Скирдюк принял навязанную ему легенду: застрелил, мол, женщину в любовном беспамятстве, в горячке, вызванной ее равнодушием. За это, внушал Роман, полагается лет десять тюрьмы, но ведь уже через год, не больше, нравится это Скирдюку как славянину или нет, немцы победно окончат войну. Придут они и сюда, в Среднюю Азию. И тогда Скирдюк окажется на свободе: тюрьмы понадобятся для других.

Скирдюк и чувствовал себя негодяем, и был таковым, и всё же, — Коробов был уверен в этом, — не без омерзения к самому себе подчинялся он Роману. Не видел, как по-другому спасти и собственную шкуру и единственное на свете, что Скирдюку было и впрямь дорого — жену Галю и сынишку Миколку. Однако, когда свершилось ужасное, когда упала Наиля, пытаясь спасти в последний миг его — подлеца, когда воочию встала перед ним неотвратимость расплаты, — открылась и вся глубина пропасти, которую он для себя вырыл. Тогда Скирдюку впервые захотелось умереть. Но и тут оставался он собой — себялюбцем прежде всего: «Пусть расстреляют скорей, чтоб только ничего про Ромку не узнали. Тогда Галя с Миколкой не пострадают...»

Вот что удалось сломать в Скирдюке Коробову. Вот на что не жаль было сил. Вот что заставило его сдержаться даже тогда, когда преступник посмел потянуться скрюченными пальцами к его горлу.

И напрасно посмеивался вообще-то неплохой товарищ и достаточно расторопный контрразведчик Гарамов (просто у него стиль работы был иной), когда Коробов, начиная очередной допрос, включал репродуктор, будто бы для себя, но и арестованный, разумеется, тоже прислушивался к каждому слову сводки Совинформбюро.

— Ты что, Лева, политинформации с ним проводишь? — спрашивал, иронически кривя губы, Гарамов, когда и он начал замечать, как жадно ловит старшина Скирдюк все, что говорится о битве на Волге.

— От гад! — выругался однажды, забывшись, Скирдюк. — Выходит, он все брехал! Нет, не пройдет Гитлер за Волгу! Сдохнет, а не пройдет...

По лицу Гарамова Коробов видел, что старший лейтенант намерен тут же поймать арестованного на слове, однако он остановил товарища предупреждающим жестом. Был уверен: придет час, и Скирдюк обо всем расскажет сам.

Он не ошибся. Скирдюк открыл все, что знал о Роме Богомольном.

Однако теперь он должен был сделать и большее. С тем и вошел опять к нему капитан «Смерша» Лев Михайлович Коробов.

Впервые назвал он старшину по имени и на ты.

— Степан, обманывать тебя как всегда не стану. Наказание ты заслужил и немалое. И все-таки есть у тебя сейчас возможность искупить свою вину хоть отчасти.

Скирдюк стоял перед Коробовым в неловкой позе. За время после ареста он отощал, ремень у него, как полагалось, отняли, и щегольские когда-то галифе сползали к коленям, собираясь пузырями. Он ссутулился, шинель встала на спине горбом.

— Садись, Степан, поговорим, — Коробов присел на край железной койки.

Скирдюк однако продолжал стоять.

— Все, что угодно, — произнес он глухо. — Хочь с моста в воду.

— Это ты уже один раз пробовал, — напомнил Коробов.

— Ладно. Не попрекайте. Теперь, ежели скажете, я его, гада, своими руками...

— И в этом тоже нет нужды, Степан, — Коробов выглянул в коридор, велел конвоиру отойти от двери, а потом усадил Скирдюка рядом с собой. — Не скрою, Степан, кое-кто сомневается, хватит ли у тебя духа. Я сказал, что уверен в тебе, Степан. И исполнишь все, что требуется.

— Говорите.

— Слушай внимательно.

Вскоре произошел случай, взволновавший всех горожан, не говоря уж об очевидцах. Даже спустя много лет, уже после войны, рассказывали люди, как январским утром на площади около станции лопнула, будто неожиданный выстрел прорезал холодный воздух, — шина у автомобиля «эмки», в которой ехали военные. Пожилой водитель вылез, чертыхаясь, присел на корточки и начал подводить под рессору домкрат. Трое оставались внутри: высокий голубоглазый капитан, конвоир, похожий на подростка, с автоматом наперевес и еще один человек в шинели со споротыми петлицами, судя по всему, опасный преступник, которого куда-то перевозили.

День выдался такой студеной, каких в этих краях, пожалуй, еще не бывало. Голые ветви и провода были покрыты инеем, словно мохнатой шерстью. На булыжной мостовой серели неровные наплывы льда. Руки у водителя мерзли, он то и дело отрывал ладони от рычага и дул на озябшие

пальцы. К тому же трудно было поднимать домкратом передок автомобиля, в котором сидело трое мужчин. Тогда капитан вылез из машины, позвал за собой автоматчика, а третий, нахохлившийся, мрачный, оставался внутри.

Теперь у колеса возились двое: водитель и автоматчик. Они передавали друг другу гаечный ключ, давая возможность товарищу отогреть руки. Капитан был недоволен тем, что дело подвигается так медленно. Он потерял терпение и, когда щупленький автоматчик попытался завернуть упрямую гайку, которая опять скособочилась, подбежал к нему, раздраженно выговаривая, сам ухватил ключ, сделал несколько резких движений им, но вдруг обернулся и закричал угрожающе и зычно:

— Стой! Стой, тебе приказано! — и тут же: — Никишин, догнать!

Проворный автоматчик кинулся вслед за арестованным, который выскочил из противоположной дверцы автомобиля, и теперь, сильно прихрамывая, что было замечено всеми очевидцами, но, невзирая на хромоту, проворно устремился к слепому зданию багажного сарая. Мимо станции тянулся бесконечный состав с пустыми цистернами. Было понятно, что беглец хочет обогнуть сарай и забраться на тормозную площадку. Всего лишь минут через пять поезд выйдет за город. Там можно спрыгнуть и убежать в степь, которая раскинулась к северу от поселка едва ли не на тысячу километров.

Выхватив пистолет, капитан тоже погнался за преступником. Он выстрелил дважды в воздух, но на беглеца это не произвело впечатления. Даже будто подстегнуло его. Широко прыгая, капитан почти настиг преследуемого, но хромовые сапоги его начали разъезжаться на наледи, он едва удержался и закричал автоматчику, что брать нужно только живым. Однако тот, очевидно, не расслышал своего начальника. Он оказался не только быстрее, но и сообразительней всех: пока преступник огибал длинное здание, автоматчик как-то непостижимо ловко, словно юркая обезьянка, взобрался едва ли не по отвесной стене на крышу сарая; беглец выскочил и оказался внизу под ним, но едва кинулся он к поезду, как сверху полоснула по нему автоматная очередь.

Промахнуться с пяти метров автоматчик, конечно, не мог. Преступник рухнул. Рядом с ним грохотали бурые цистерны.

Минуту спустя подбежал капитан. Потом — еще военные, которые, очевидно, услышали выстрелы. Вскоре кто-то из них подогнал к перрону проезжавший мимо станции грузовичок, в кузове которого стояло несколько связанных веревкой бочек. Беглеца, накрытого плащ-палаткой, подняли и положили в кузов. Там же, прислонившись спиной к бочкам, уселся с виноватым видом автоматчик в своей коротенькой аккуратной

телогрейке. Капитан еще раз бросил ему что-то сердитое, залез в кабину к шоферу, и грузовик укатил, оставив на площади кучку мужчин и женщин, потрясенных происшедшим: большинству из них не приходилось видеть, как убивают человека.

Они еще долго не расходились. Появлялись новые лица. Им о происшествии рассказывали уже не очевидцы, а те, кто сам только что услышал о том, что произошло на привокзальной площади. Продолжали судачить об этом и в рабочем поезде, и в Ташкенте. А в поселке к вечеру многие уже знали бог весть из каких источников, что убит автоматной очередью не кто иной, как тот самый военный, который под Новый год застрелил на любовной почве татарочку.

«Так ему, паразиту, и надо. Давно бы!» — заключали постаревшие до поры работницы, грохоча деревянными подошвами по дороге к проходной, а мужчины, дымя махоркой, добавляли обычное: «Собаке и смерть собачья...»

А вскоре, едва начался рабочий день, к начальнику лаборатории твердо, хотя припадая чуть заметно на левую ногу, вошел уже известный ему по предыдущему визиту младший лейтенант Зурабов... С самоуверенностью военнослужащего, пусть не удостоенного больших званий, но облеченного доверием высокого начальства, он спросил, готова ли наконец документация, которую ему поручено представить в головной военный институт?

Самсон Рафаилович, однако, взглянул на младшего лейтенанта весьма хмуро, невзирая на весь его апломб, и прежде всего поинтересовался, как это удалось младшему лейтенанту в прошлый раз выйти без отметки и подписи на пропуске?

Младший лейтенант искренне изумился.

— Бога побойтесь, как в старину говаривали, Самсон Рафаилович! Вы же сами, по пути на совещание, подписали мне пропуск. Вот так, — и младший лейтенант изобразил, как прижимают бумажку к стене и пишут на ней.

— Допустим, — Самсон Рафаилович потер лоб, — ну, а сегодня вы заходили в спецчасть?

Младший лейтенант возмутился.

— Простите меня, но это уже не бдительность, а придирки, чтоб не сказать хуже. В самом деле: я, можно сказать, грех на душу беру, буду перед начальством оправдывать вас (вы же работы по теме затянули безбожно), а вы вместо признательности начинаете донимать меня пустяковыми

вопросами. Это вы заказывали мне сегодня пропуск или какой-то другой человек? И учтите, через сутки я должен быть в центре, иначе голову снимут и не только с меня одного.

— Что вы кипятитесь! — Самсон Рафаилович поднял трубку и назвал номер. — Пакет для военпреда готов? — спросил он, послушал кого-то и вдруг взмолился: — Я прошу вас, я. Это личная просьба, вы понимаете меня? Ну да: все сроки нарушены. Не получалось у нас. Это долго объяснять, почему. Но теперь-то хоть не задерживайте!

Самсону Рафаиловичу, очевидно, возражали, и он заговорил еще горячее:

— Я же вас знаю: вы сейчас начнете собирать визы... Главный технолог все равно полагается на меня. Вы поняли? Что значит — нельзя? — вдруг вскинулся он. — Война идет! Неужели об этом напоминать надо? На фронте не собирают подписи, не перестраховываются. Там проявляют инициативу. Откуда знаю о фронте я? От знакомого дяди. Вас это устраивает? — Он положил трубку и некоторое время сидел молча, сжимая лысый череп ладонями. Потом поднял из-под тяжелых век взгляд на младшего лейтенанта, как бы решая про себя: можно ли довериться такому?

— Я пойду на нарушение, — произнес он обреченно, но решительно. — Спецчасть от своих порядков не отступится. А вы, я понимаю, больше ждать не можете.

— Какое там ждать? — военпред вскинулся. — Через четыре часа спецрейс. Меня сам командующий в свой самолет берет.

— Тише. Вы можете добиться у начальства, чтобы вас прислали снова в Узбекистан?

— Мне не надо ничего добиваться. Через две недели, не позднее, меня сами погонят сюда с заключением о правильности ваших выкладок.

— Хорошо. Объясните им там что-нибудь о том, почему вам выдали не первый экземпляр. Ну, скажите, кто-то случайно пролил чернила, или еще что-нибудь такое. Я дам вам сейчас копию. На свой страх и риск. — Самсон Рафаилович теснее затянул тесемки на папке и с некоторой торжественностью передал ее младшему лейтенанту. Тот однако развязал папку и небрежно, даже как-то скептически поджимая губы, полистал бумаги.

— Ой, боюсь я, придется мне скоро опять посетить вашу богоспасаемую лабораторию.

— Ничего, — иронически утешил Самсон Рафаилович, — у нас тут все-таки немножко поспокойней, чем где-нибудь на фронте, а? — он

подмахнул на пропуске свою подпись и подал младшему лейтенанту мягкую ладонь.

Одна-единственная дорога вела в большой город. Булыжное неровное шоссе достигало Ташкента и встречалось с улицей, уходившей к вокзалу, забитому разношерстным людом военной поры, к сумятице на площади и неразберихе на перроне. Но оттуда все же отправлялись поезда, пусть без расписаний, но и билета, чтоб сесть в вагон, тоже не требовалось. Там можно было мгновенно раствориться в толпе, а потом — исчезнуть. Но было на пути роковое место — шлагбаум на шоссе. Дорога здесь врезалась в холм, справа и слева спускались крутые откосы, впереди — переезд, перекрытый сейчас горбатой жердью.

Опущен шлагбаум был давно, перед ним собралась длинная очередь — автомашины, повозки, арбы с огромными колесами. Мотоциклист нетерпеливо, когда с помощью уговоров, когда — брани, пробрался сквозь скопление почти к самой колее. На ней, вызываяще равнодушно попыхивая паром, стоял старый паровоз «Овечка». Он, кажется, не был намерен двинуться ни вперед, ни назад. Мотоциклист, нервничая, слез со своей машины и подошел вплотную к паровозу; он что-то крикнул машинисту, чумазому парню в черной от угольной пыли ушанке, но тот, все так же безразлично поглядывая на голые, покрытые инеем ветви, протянувшиеся над шоссе, не удостоил его и взглядом. Тогда мотоциклист сам вышел на шпалы, увидел опущенный семафор и, чертыхаясь, вернулся назад.

В деревянной будке, наконец, задребезжал телефон, появилась пожилая женщина в тулупе, с флажком в руке, машинист нырнул вглубь паровоза, из-под колес покатались клубы серого пара, паровозик пронзительно вскрикнул и с трудом, будто колеса успели примерзнуть к рельсам, тронулся с места. И тут же оживилось все: заурчали моторы, вскинулись понукаемые лошади; женщина повертела рычаг, и, едва жердь поднялась, застоявшийся транспорт ринулся к Ташкенту. Однако мотоциклист никак не мог запустить двигатель. Мимо него проехали, свирепо ругаясь, потому что он занял часть дороги, почти все, и тут он наконец перестал мучить рычаг, заглянул в мотор и сплюнул в сердцах: пока он уходил к шлагбауму, чья-то умелая рука вытащила из гнезда запальную свечу. Вещь эта была, разумеется, дефицитна, безвестный воришка мог получить за нее пару червонцев на толкучке, деньги не бог весть какие: судя по всему, мотоциклист готов был сейчас уплатить за свечу гораздо больше. Он и кинулся с сотенной бумажкой в руке к первой же



машине, показавшейся со стороны Чирчика.

Водитель, молодой, с выпуклыми веселыми глазами, с непринужденностью, свойственной южанам, вступил в беседу, замысловато обругал жуликов которые «тащат, собаки, на каждом шагу, а ты только подумай, что он там взял? На лепешку ему не хватит, а человек из-за него мучиться должен». Запасной свечи у словоохотливого шофера, однако, не оказалось. «Извини, конечно, но даже у нас, в «Заготзерне», с запчастями теперь не дай бог как тяжело...» Он дал газ и хотел уехать, но тут мотоциклист, с виду — демобилизованный командир, на петличках его сохранился след от кубика, просто-таки взмолился: не подкинет ли шофер его на своей «эмке» до Ташкента?

Водитель вдруг утратил всю свою приветливость и хмуро сообщил, что возить «левых пассажиров» ему решительно запрещено, что местом своим он рисковать не намерен («Считай, кроме карточки, я три кило пшеницы в неделю имею...»), но мотоциклист, заискивающе поглядывая на шофера, посулил, что отблагодарит его по высшему классу. Он уже отволоч свой мотоцикл поближе к будке, небрежно приткнул его к насыпи, достал из багажника портфель и кинулся к «эмке».

Всю дорогу шофер молчал, зло орудуя баранкой. За переездом, в начале Пушкинской, он съехал к обочине и остановился, по-прежнему не глядя на нежеланного пассажира, который в очередной раз беспокойно взглянул на свои часы.

— Кировские? — взгляд водителя наконец оттаял.

Пассажир хмыкнул. Презрительная гримаса мелькнула на его холеном лице.

— Скажешь, «кировские»... «Омега»! — он вдруг оживился, торопливо, хотя и со вздохом, снял часы и протянул водителю. — Держи. На память. Ты — человек.

Выпуклые глаза водителя блеснули удивленно и благодарно. Однако он отгородился ладонью от часов.

— Ты что? Ну, подвез тебя. Разве можно за это? Дашь красную — и хватит.

— Возьми, возьми. Я все равно на фронт скоро поеду. Опять. Жив буду, без часов не останусь. Держи.

— Много даешь...

— Не болтай лишнего! Довези до места — и все.

— А далеко ехать? На вокзал? — водитель уже любовался часами с темным циферблатом.

— Нет. На Маломирабадскую.

— Ого! — водитель вздохнул, почесал в затылке и включил зажигание.

— Держите трофей, товарищ старший лейтенант, — Никишин подал Гарамову запальную свечу. Фарфоровая оболочка ее была тепловата.

— Спасибо, — Гарамов усмехнулся и добавил: — Жалко, не слышал ты, как он крыл тебя!

— Зато я ему спасибо сказать обязан: я же все гадал, с какого боку к мотоциклу подобраться, а он тут сам соскочил и побежал к шлагбауму.

— Понятно. Остальное было — делом техники. Так? А что капитан, давно у себя?

— И товарищ полковник тоже здесь. Вас ожидают.

— Порядок! Могу и тебе на ходу свой трофей показать, — Гарамов вытащил часы, вместе с Никишиным поцокал языком, на них глядя, и заключил с откровенным сожалением: — Придется приобщить к вещественным доказательствам. А часики, между прочим, лучшая швейцарская фирма, — вздохнул и шагнул в кабинет к Коробову.

Полковник Демин поднялся во весь свой немалый рост, сцепил над головой пальцы и с удовольствием потянулся.

— Засиделись мы, братцы. Но не зря, не зря. Поздравлять не стану, но лабораторную часть вы, кажется, завершили. Да, забыл спросить: дела для передачи в прокуратуру готовы?

— Так точно, товарищ полковник, — ответил Коробов, вставая.

— Сиди, сиди, Лев Михайлович. Это я, чтоб размяться, — полковник, наклонив голову, шагнул по тесной комнате: два шага — и у стены.

— Выписка из дела Скирдюка — гражданской прокуратуре, чтоб приобщила к делу Зурабова и Нахманович. Я не сомневаюсь, товарищ полковник: золото, полученное от Скирдюка, она взяла себе. Все эти «прасолы с Куйлюка» — легенда.

— Пусть уж этим следователи занимаются, Лев Михайлович. Да, кстати, надо предупредить, чтобы военный прокурор вел дело Скирдюка параллельно с гражданской прокуратурой. Ну там, совместные очные ставки Скирдюка с Зурабовым и прочими... — полковник остановился у окна. — Вот так и топают они все по одной дорожке, — заключил он. — Хапуга иной еще и патриотом себя считает, со слезой поет про журавлей, которые ему привет с родины несут. Он же уверен: не предал эту родину. Ну, взял себе и сожрал то, что полагалось другим. Подумаешь... А открывает ворота врагу. Не будь тот же Скирдюк жуликом, не поставь он себя вне закона, разве подловил бы его Роберт? — полковник вернулся к

столу. — Я почти уверен, Лев Михайлович, что это и есть тот самый Роберт Замдлер, которого наши в Саратове упустили. Проверь в архиве. Чтоб к допросу подготовиться, после того как решим взять его. А как там Скирдюк?

Вопрос был обращен к Гарамову.

— Сожалеет, товарищ полковник, что у Никишина автомат холостыми заряжен был, — ответил тот.

— Нет. Помирать ему пока не время. Но подыграл он нам и в самом деле неплохо. А? Обратили вы внимание, с какой уверенностью пришел назавтра Роберт в лабораторию? Все свидетели, казалось ему, были убраны: Наилю он застрелил собственноручно, Скирдюк погиб, пытаюсь бежать. Бежать! Это ты отлично нашел, Лев Михайлович! Тот, кто бежит из-под стражи, наверняка не выдал сообщников.

— Скирдюк за всеми тянулся, товарищ полковник. — Гарамов позволил все же себе некоторую вольность и указал на Коробова: — Вон, Лев Михайлович у нас сыграл, как народный артист!

— В нашем деле и без этого нельзя, — серьезно заметил Демин, — вы знаете: обстановка требует, и спляшешь, и на гитаре побренчишь.

— На этот раз обошлось без музыки, товарищ полковник. — Коробов улыбнулся, понимающе переглянувшись с Деминым. Оба вспомнили одно недавнее дело с дезертирами. Коробову пришлось тогда трое суток развлекать в поезде некую теплую компанию, изображая душу общества.

Однако тут же Демин посерьезнел снова.

— Не будем зарекаться, Лев Михайлович. Кто знает, что нам еще предстоит, прежде чем весь клубок распутаем. Пока что вытащили вы важную нить. Посмотрим, что тянется за ней.

— Может, меня на Маломирабадскую пошлете? — спросил все же Коробов. — В лицо-то Роберт только одного Гарамова знает. — Коробов и себе позволил снова пошутить: — Аркадий у нас — парень-хват. Это же надо: какие часы отхватил! Покажи-ка еще раз.

Демин, однако, достал перочинный ножик и попытался снять крышку.

— Приварена напроць, — заключил он, — обыкновенная штамповка. Надули тебя, Аркадий.

— Не может быть, — самолюбие Гарамова и впрямь было задето, — разве стал бы он носить на руке штамповку?

— Вот для таких, как ты, и нацепил! У него этих штамповок, почитай, чемодан. Ладно, не огорчайся, Аркадий. В любом случае тебе пришлось бы сыграть простака. — Коробов приложил часы к уху. — А идут вроде бы неплохо.

— Сколько на них? — спросил Демин.

— Семнадцать тридцать.

— Так. Значит, пока — отдыхать всем. На Маломирабадской будет по-прежнему дежурить группа Мансурова. Думаю, у нашего «пианиста» не один час уйдет на то, чтобы снять на пленку копии с расчетов.

— Самсон Рафаилович клянет его на чем свет стоит. Сколько времени, говорит, потерял дорогого на то, чтобы заполнить эти бумаги. И не просто чушью, а научно-правдоподобной! Легче, говорит, настоящее открытие сделать, — Коробов вспомнил замученного работой начальника лаборатории и искренне пожалел его.

— Спасибо ему, но не обнаружится ли подвох? Возможно, Замдлер и в самом деле имел какое-то отношение к науке?

— Ну уж, если даже Аркадий несчастную штамповку от «Омеги» не отличил! А там экспертиза посложней требуется, — Коробов доставил все же себе удовольствие — поддеть походя Гарамова. — Самсон Рафаилович сказал, проверить можно только экспериментально, в лаборатории. Значит, выход у Роберта один: снять фотокопии, чтоб передать их своим, а пакет сжечь. Этим он, я полагаю, и занимается сейчас.

— А потом он должен вывести нас на своего резидента. Об этом мы уже толковали и с вами, и с Мансуровым.

— Еще одно неясно, товарищ полковник, — заметил Гарамов, — женщина эта, убитая... Откуда знала она Роберта. Предположим — любовная связь, но он же не назвался бы подлинным своим именем?

Демин и сам задумался.

— Жизнь нам ответит, — заключил он. — Когда-нибудь... Пока важно другое: Наиля Гатиуллина встала у него поперек пути. Всегда находятся люди, которые загораживают дорогу врагу. Вот даже — медсестричка эта. Протопопова... Вы приобщили, Лев Михайлович, к делу ее письмо?

— Передала мне целый роман, — Коробов полистал объемистую тетрадку. — «...Тревожная мысль будоражит меня снова и снова, и побуждает взяться опять за перо. Этот красивый мужчина, который так неожиданно и по-хозяйски вошел тогда на рассвете в комнату к Степану Онуфриевичу... Едва заслышав шаги его, я укрылась с головой. От стыда и от страха — тоже. Нет сомнений: он принял меня за Скирдюка. И вот теперь всплыли в памяти какие-то странные речи, которые он произнес в тот роковой час. Он говорил что-то о том, что ему надо укрыться дня на два и что теперь настала очередь Скирдюка. «Платить золотой дружбой за золото». И как раз вскоре после этого Скирдюк вынудил меня дать ему шесть порошков люминала». И так далее, — Коробов вложил тетрадь в

папку. — Самое главное: и она спохватилась! Понятно, почему долго молчала. Какой женщине охота сознаваться, что ее застали у мужчины? Однако и Протопопова даже через свой стыд перешагнула, когда почувствовала, что происходит что-то неладное.

— А Зурабов молчал, хотя он знал больше всех, — произнес, выпятив губу, Гарамов. — Он же один был неподалеку, когда произошло убийство. Правда, позвонил в комендатуру, но и то — из шкурных побуждений.

— Я же говорил: одного поля ягоды — что шпион, что хапуга, — Демин надел шинель. — Отдыхайте, — повторил он, — сапоги разрешается снять.

Они остались вдвоем.

— Что-то мы не слушали, Лева, сегодня, как там на фронте?

— Пытаются немцы из Котельной к Калачу пробраться, только клещи наши, кажется, крепкие. — Коробов уже лежал, с удовольствием вытянув во всю длину ноги. — Гад же этот, Роберт, внушал Скирдюку: через полгода немцы в Ташкенте будут. А вышло, зажали их, да еще как! Слышь, Аркадий, — произнес он погодя, — проходили мы когда-то в училище такую тему: взаимодействие родов войск. Про всех там упоминали, даже про начальника клуба, не говоря уже о танкистах. Какая у кого роль на войне, а вот про наш род — ни слова...

— Спим, Лева, — откликнулся с раскладушки Гарамов. — Как поют по радио: «Нынче у нас передышка, завтра вернемся к боям», — помолчал и добавил: — Бери на вооружение твой урок.

\*

Года три спустя, уже после войны, оказался Коробов в Поволжье. Дела были окончены, оставалось еще время до поезда, он бродил по крутым улицам старинного города, по набережной и тут вспомнилось дело Скирдюка. Теперь оно представлялось давним, однако встревожила всплывшая вновь загадка: каким образом, откуда могла знать немецкого агента простенькая работница? Тогда в 43-м, в напряжении и горячке будней «Смерша», выяснить это не сумели. Посылали, правда, особое поручение приволжским коллегам, но у тех, очевидно, были заботы поважней: ответ получили о том, что в списках учащихся нефтяного техникума Роберта Замдлера не оказалось. Впрочем, знакомство могло состояться и на стороне, где угодно. Важно, что Наиля узнала Роберта и раскрыла его подлинное имя. На том и остановились.

И все же, повинувшись неясному для него побуждению, отправился сейчас Лев Михайлович Коробов в нефтяной техникум.

Он прошел гулкими пустыми коридорами (пора была каникулярная) и заглянул, сам еще не зная зачем, в актовый зал. Здесь вдоль одной из стен расположился своеобразный музей этого скромного учебного заведения: витрины с документами и книгами, фотоснимки, кубки за спортивные победы, вымпелы, грамоты и прочие свидетельства негромкой славы.

Как случилось с ним не однажды, шел он повинувшись едва уловимому внутреннему приказу, и словно сами собой попались на глаза альбомы: «Наши достижения в спорте», «Научная работа», «Труд и песня».

Он полистал один, другой. Не очень внимательно, но вдруг показалось, мелькнуло что-то знакомое. Вгляделся и увидел Наилю рядом с пианистом в роговых очках. Еще раз всмотрелся и убедился: точно — Замдлер! Как сообщала подпись, это под его аккомпанемент исполняла лирическую песенку учащаяся третьего курса Наиля Гатиуллина. Хрупкая большеротая девушка со смутной тревогой в светлых глазах.

— Я возьму эту фотографию, — не то попросил Коробов, не то поставил в известность сопровождавшего его парня из комсомольского комитета. Тот, спасаясь от неловкости, помассировал затылок, бритый едва ли не до самой макушки, потоптался тощими ногами, торчащими из широких кирзовых голенищ.

— Знакомая? — он по-свойски, но как-то неловко указал глазами на Наилю. Коробов кивнул.

— Где же вы с ней могли встречаться? — в раздумье произнес парень. — Она же еще перед войной окончила техникум и уехала куда-то по назначению.

— В Ташкент.

— А-а... Туда от нас, бывает, направляют тоже. Она там в войну работала? Героиня тыла, как говорится.

— Можно сказать и так, — не сразу откликнулся Коробов.



---

**notes**

## Примечания



**1**

Название условное.